П. КРОПОТКИН

Е.Ж83
И31Г

ИЗ ЗАПИСОК РЕВОЛЮЦИОНЕРА

ПРИБОЙ
1928

П. КРОПОТКИН

Еж 83
И 317

ИЗ ЗАПИСОК РЕВОЛЮЦИОНЕРА

«ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД

К.
П-04
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2000
ЕЖ83
И 317 Р
Библиотека
Института Ленина
при Ц. К. В. К. П. (б.)
0941 97144
2/8

Ленинградский Гублит № 50292 Тир. 10.000.—8½ л. Зак. 4027.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Виднейший теоретик и вождь международного анархо-коммунистического движения, Петр Алексеевич Кропоткин (1842—1921), начал свою революционную деятельность как русский социалист-народник.

П. А. Кропоткин родился в знатной княжеской семье. Уже семи лет он был назначен в пажи к „высочайшему двору“, а по окончании Пажеского корпуса—в камер-пажи. Пред ним открывалась придворная карьера. Его лично знали царь, царица и великие князья. Однако научные интересы толкнули Кропоткина в другую сторону: его увлекла география, исследовательские экспедиции в Сибири и Китае. В 1871 г. Кропоткин уехал в научную командировку за границу. Разгром коммуны в Париже, знакомство с известным географом и анархистом Э. Реклю, сближение с Бакуниным сыграли решающую роль в дальнейшей судьбе Кропоткина. Он вернулся в Россию убежденным социалистом и стал деятельным участником нелегального кружка „чайковцев“. Под именем Бородина, Кропоткин вскоре завоевал популярность среди рабочих Петербурга, в особенности за Невской заставой. Полиция долго охотилась за ним. В 1874 г. предатель указал на него жандармам в Гостином дворе. Кропоткин был арестован. При обыске у него нашли проекты и программу революционной народнической организации. Это давало повод считать его вождем социалистического движения. Власти, кроме того, мстили Кропоткину за измену аристократической, дворянской, придворной среде.

Свою автобиографию Кропоткин изложил в „Записках революционера“, откуда и взят печатаемый очерк.

Со времени бегства за границу Кропоткин отходит от русского революционного народнического движения. Зато принимает деятельное участие в международном рабочем движении, отстаивая непримиримо анархистские идеи Бакунина. Правительства разных стран изгоняли Кропоткина. Он вел жизнь скитальца, полную лишений, но не прекращал ни революционной пропаганды ни научных трудов. Ему принадлежит много книг, в том числе прекрасное исследование о роли крестьян в Великой французской революции. Связь с революционной Россией Кропоткин поддерживал только своим участием в малочисленных и невлиятельных анархистских группах, но его „Записки революционера" были долгое время одной из тех книг, на которых воспитывалось революционное поколение 90-х годов. Лично Кропоткин был исключительной по своему обаянию, революционной искренности и чистоте натурой.

Непримиримый враг всех буржуазных правительств, Кропоткин не избежал общей участи мелкобуржуазных социалистов во время империалистической войны. Он оказался в лагере социал-патриотов. В 1917 г. Кропоткин вернулся в Россию после почти сорокалетнего изгнания. Политической роли он уже не играл. Наиболее революционная часть его учеников перешла к коммунистам; правые элементы скатились в болото контр-революции, махновщины, бандитизма. Сам Кропоткин не запятнал своей старости, подобно Чайковскому,—своему другу молодости, соучастнику в народнических кружках. Кропоткин сочувственно относился к Октябрьской революции и советской власти, хотя и не мог примириться с пролетарской государственностью в форме диктатуры рабочего класса и советов.

Детство.

I.

Высокая, просторная угловая комната в нашем доме. В ней—белая постель, на которой лежит мать. Наши детские креслица и столики пододвинуты близко к кровати. Красиво накрытые столы уставлены конфетами и хорошенькими стеклянными баночками с желе, и в эту комнату нас. детей, ввели в необычное время—таковы мои первые, смутные воспоминания. Наша мать умирала от чахотки. Ей было всего тридцать пять лет. Прежде чем покинуть нас навсегда, она пожелала видеть нас возле себя, ласкать нас, быть на мгновение счастливой нашими радостями; она придумала это маленькое угощение у своей постели, с которой уже не могла более подняться. Я припоминаю ее бледное, исхудалое лицо, ее большие темно-карие глаза. Она глядит на нас и ласково, любовно приглашает нас есть, предлагает взобраться на постель; затем вдруг заливается слезами и начинает кашлять... Нас уводят.

Немного времени спустя, нас детей, т. е. меня и брата Александра, перевели из большого дома в маленький флигель во дворе. Апрельское солнце заливает своими лучами комнату, но немка-бонна, m-me Бурман, и няня Ульяна велят нам ложиться спать. Лица их мокры от слез. Они шьют нам черные рубашечки с широкими белыми оторочками. Нам не спится. Неизвестность пугает нас; мы прислушиваемся к сдержанному разговору нянек. Они говорят что-то такое о нашей матери, чего мы понять не можем. Мы выскакиваем наконец и спрашиваем: — где мама? где мама?—Обе

женщины начинают плакать навзрыд, гладят наши кудрявые головки, зовут нас „бедными сиротами". Ульяна не может скрывать больше и говорит:—Ваша мама улетела туда, на небо, к ангелам.

— Как на небо? Почему? — Наше детское воображение напрасно старалось ответить на эти вопросы.

Это было в апреле 1846 года. Мне было всего три с половиной года, а брату Саше еще не минуло пяти. Я не знаю, где были тогда старший брат и сестра, Николай и Елена; по всей вероятности, уже уехали учиться. Николаю шел двенадцатый год, а Лене одиннадцатый. Они всегда держались вместе, и мы очень мало знали их. Таким образом, мы с Александром остались во флигеле на попечении m-me Бурман и Ульяны. Добрая, старая немка, не имевшая ни своего угла ни души родных, заменила нам мать. Она воспитала нас, как могла; от времени до времени она покупала нам простые игрушки, закармливала коврижками, которыми торговал заходивший иногда другой старый немец,— по всей вероятности, такой же одинокий бобыль, как m-me Бурман. Мы редко видали отца. Два следующих года прошли, не оставив никакого впечатления в моей памяти,

II.

Отец мой очень гордился своим родом и с необыкновенной торжественностью указывал на пергамент, висевший на стене в кабинете. В пергаменте, украшенном нашим гербом (гербом Смоленского княжества), покрытым горностаевой мантией, увенчанной шапкой Мономаха,—свидетельствовалось и скреплялось департаментом Герольдии, что род наш ведет начало от внука Ростислава Мстиславича Удалого и что наши предки были великими князьями Смоленскими.

— Я за этот пергамент заплатил триста рублей,— часто говорил нам отец.

Как большинство людей его поколения, он не был особенно силен в русской истории и ценил пергамент, главным образом, по стоимости его, а не по историческим воспоминаниям.

Наш род, действительно, очень древний; но подобно большинству родов, ведущих свое происхождение от Рюрика, он был оттеснен, когда кончился удельный период, вступили на престол Романовы и стали объединять Россию. В последнее время никто из Кропоткиных, повидимому, не питал особенной склонности к государственной службе. Мой прадед и дед служили в военной службе, но вышли в отставку совсем молодыми и поспешили удалиться в свои родовые поместья. Нужно сказать, впрочем, что одно из этих поместий, Урусово, находящееся в Рязанской губернии и расположенное на высоком холме, среди раскошных полей, прельстило бы хоть кого красотой тенистых лесов, бесконечными лугами и извилистой речкой. Мой дед вышел в отставку поручиком, удалился в Урусово, где занялся хозяйством и стал прикупать именья в соседних губерниях.

По всей вероятности, и наше поколение сделало бы то же самое; но наш дед женился на княжне Гагариной, принадлежавшей совсем к другому роду. Ее брат был известен, как страстный любитель сцены. Он завел свой собственный театр и, к ужасу всей родни, женился даже на крепостной, на великой артистке Семеновой, родоначальнице реальной драматической школы в России. Без сомнения, и по характеру Семенова была одна из наиболее привлекательных личностей театрального мира. К ужасу „всей Москвы“, Семенова и после замужества продолжала появляться на сцене.

Я не знаю, обладала ли моя бабушка теми же артистическими и литературными вкусами, как ее брат. Я только помню ее, когда она уже была разбита параличом и могла говорить только шопотом. Не подлежит, однако, сомнению, что следующее поколение нашей семьи проявило склонность к литературе. Один из сыновей княгини Гагариной писал стихи и издал даже целую книжку,—факт, о котором мой отец всегда стыдился даже упомянуть. Мои двоюродные братья, мой брат и я сам, в большей или меньшей степени, принимали участие в литературе нашего времени.

Отец мой был типичный николаевский офицер. Не то, чтоб он был наделен особенным боевым духом

или особенно любил походную жизнь: я сомневаюсь даже, чтоб он провел хотя бы одну ночь у бивуачного огня, или же участвовал хотя бы в одном сражении; но при Николае это имело второстепенное значение. Настоящим военным в то время был тот, кто обожал мундир и кто презирал штатское платье; чьи солдаты бывали вымуштрованы так, что могли выделывать почти невероятные штуки ногами и ружьями (одна из знаменитых штук того времени была, например: разломать приклад, беря на караул); кто на параде мог показать такой же правильный и неподвижный ряд солдат, как будто то были не живые, а игрушечные солдатики.

— Очень хорошо, — сказал раз великий князь Михаил после того, как полчаса заставил простоять полк с ружьем на караул:—только дышат!

Идеалом моего отца, конечно, было возможно больше походить на военного того времени.

Действительно, он принимал участие в 1828 г., в войне с Турцией; но устроился так, что все время пробыл в штабах. И если мы, дети, воспользовавшись моментом, когда отец был в особенно хорошем расположении духа, просили его рассказать нам про войну,— он мог сообщить нам лишь то, как на него да на верного слугу Фрола, в то время, когда они проезжали деревню,—напали десятки разъяренных собак. Отцу и Фролу пришлось пустить в ход сабли, чтоб отбиться от голодных животных. Без сомнения, нам больше бы хотелось, чтобы то был отряд турок, но мы мирились и с собаками; но когда, после долгих приставаний, нам удавалось заставить отца рассказать, за что он получил Анну с мечами и золотую саблю, тут уж мы были совсем разочарованы. История была до крайности прозаична. Офицеры генерального штаба квартировали в турецкой деревне, когда в ней вспыхнул пожар. В одно мгновенье огонь охватил дома, и в одном из них оставался ребенок. Мать рыдала в отчаяньи. Фрол, сопровождавший всегда отца, бросился в огонь и спас ребенка. Главнокомандующий, который видел этот поступок, тут же наградил отца крестом за храбрость.

— Но, папаша! — восклицали мы — ведь это Фрол спас ребенка!

— Так что ж такое,—отвечал отец наивнейшим образом.—Разве он не мой крепостной? Ведь это все равно.

Отец мой принимал также участие в войне против поляков во время революции 1831 г. В Варшаве он познакомился и влюбился в младшую дочь корпусного командира, генерала Сулимы. Свадьбу отпраздновали очень торжественно в лазенковском дворце. Посаженым отцом со стороны невесты был Паскевич.

— Но ваша мать,—прибавлял всегда отец,—не принесла мне никакого приданого.

То была чистая правда. Отец ее, Николай Семенович Сулима, совсем не умел себе сделать карьеру и нажить состояние. Должно быть, в его жилах было слишком много крови запорожцев, которые умели сражаться с отлично вооруженными, храбрыми поляками и с втрое более сильными турецкими армиями; но не умели уберечься от тенет московской дипломатии. Известно, что после страшного восстания 1648-го года, которое было началом конца польской республики и войны с поляками, казаки подпали под иго русских царей и потеряли все свои вольности. Один из Сулима был захвачен тогда поляками и замучен до смерти в Варшаве; но остальные полковники такого же закала дрались еще более упорно, и Польша потеряла Малороссию.

Что касается моего деда, то в двенадцатом году он, во главе кирасирского полка, умел врубиться в карэ французов, несмотря на щетину штыков, и, оставленный, как убитый, на поле сражения, сумел оправиться, отделавшись глубоким шрамом на голове; но стать лакеем у всемогущего Аракчеева он не захотел, и его отправили в своего рода почетную ссылку, вначале генерал-губернатором в Восточную Сибирь, а потом в Западную. В то время такой пост считался более прибыльным, чем золотой прииск; но мой дед возвратился из Сибири таким же небогатым человеком, каким отправился туда. Он оставил своим трем сыновьям и трем дочерям лишь маленькое наследство. Когда я, в 1862 году, поехал в Сибирь, то часто слышал его имя, произносившееся с большим уважением.

Чудовищное воровство, царившее тогда в Сибири, с которым мой дед был не в силах бороться, — приводило его в отчаянье.

Мать моя, без сомненья, для своего времени была замечательная женщина. Много лет спустя после ее смерти, я в углу, в кладовой, в нашем деревенском доме нашел много бумаг, исписанных ее твердым и красивым почерком. То были дневники, в которых она описывала красоту природы в Германии и говорила о своих печалях и о жажде счастья. Тут были также тетради запрещенных русских стихотворений, между прочим, думы Рылеева. В других тетрадях были ноты, французские драмы, стихи Ламартина, поэмы Байрона. Нашел я также много акварелей, рисованных моею матерью.

Высокая, стройная, с массой каштановых волос, с темно-карими глазами, с маленьким ртом, она, как живая, глядит с портрета, написанного с любовью масляными красками хорошим художником. Она была всегда весела, подчас беззаботна и очень любила танцы. Никольские крестьянки часто рассказывали нам, как бывало любовалась она с балкона на их хороводы, а потом не утерпит и сама присоединится к ним. Она была артистическая натура. На балу моя мать схватила простуду, которая кончилась воспалением легких и довела до могилы.

Все, знавшие ее, любили ее. Слуги боготворили ее память. Ради ее мадам Бурман взялась заботиться о нас. В память ее Ульяна так любила нас. Когда она чесала нас или крестила пред сном, она часто говаривала:—Бедные сиротки! Теперь ваша мамаша смотрит на вас с неба и плачет по вас.

Все мое детство перевито воспоминаниями о ней. Как часто где-нибудь в темном коридоре рука дворового ласково касалась меня или брата Александра. Как часто крестьянка, встретив нас в поле, спрашивала: — Вырастете ли вы такими же добрыми, какой была ваша мать. Она нас жалела, а вы будете жалеть?

„Нас“—означало, конечно, крепостных. Не знаю, что стало бы с нами, если бы мы не нашли в нашем доме среди дворовых ту атмосферу любви, которой должны

быть окружены дети. Мы были дети нашей матери; мы были похожи на нее; и, в силу этого, крепостные осыпали нас заботами, подчас, как видно будет дальше, в крайне трогательной форме.

Люди жаждут бессмертия; но они часто упускают из виду тот факт, что память о действительно добрых людях живет вечно. Она запечатлевается на следующем поколении и передается снова детям. Неужели им мало такого бессмертия?

III.

Два года после смерти матери отец мой женился во второй раз. Он уже было высмотрел красивую невесту из богатой семьи, когда судьба его решилась иначе. Раз утром, когда отец сидел еще в халате, вбежали перепуганные слуги и возвестили о прибытии генерала Тимофеева, начальника шестого армейского корпуса, в котором отец служил. Любимец Николая I был ужасный человек. За ошибку на параде он мог отдать приказ запороть солдата почти до смерти. Он мог разжаловать офицера и сослать в Сибирь, если бы встретил его на улице с расстегнутыми крючками высокого, тугого воротника. У Николая слово генерала Тимофеева значило все. В то утро генерал, который до тех пор никогда не бывал у нас, явился самолично, чтобы посватать отцу племянницу жены, девицу Елизавету Марковну Карандино, одну из дочерей адмирала черноморского флота, говорят, очень красивую тогда девицу, с правильным греческим профилем. Отец согласился, и вторая свадьба, как и первая, была отпразднована с большою торжественностью.

— Вы, молодежь, ничего не понимаете в подобных делах,—заканчивал всегда отец, когда он впоследствии с непередаваемым тонким юмором рассказывал мне эту историю.—Знаешь ли ты, что в то время значило „корпусный?“ А вдруг сам он, одноглазый чорт, приехал сватом. Конечно, приданого было всего большой сундук, набитый бабьими тряпками, да еще сидит на нем крепостная девка Марфа, черная, как цыганка.

Я решительно ничего не помню об этом событии. Припоминается лишь большая гостиная в богато убранном доме, а в этой гостиной молодая привлекательная дама с слишком острыми южными глазами, заигрывающая с нами, повторяя:—Видите, какая веселая мама будет у вас!

На что Саша и я, насупившись, отвечали:—Наша мама улетела на небо!—Мы с недоверчивостью относились к такой слишком большой живости.

Пришла зима, и для нас началась новая жизнь. Дом продали и купили другой, который омеблировали совершенно заново. Исчезло все, что могло бы напоминать мать: ее портреты, рисунки, вышиванье. Напрасно молила мадам Бурман оставить ее в доме и обещала посвятить себя всецело ребенку, которого ожидала мачеха—ее рассчитали.

— Не хочу иметь у себя никого из дома Сулимы!—говаривала мачеха. Она порвала все связи с нашими дядьями, тетками и бабушкой. Ульяну назначили ключницей и выдали за Фрола, которого сделали дворецким. Чтобы учить нас, приставили дорогого француза-гувернера, мосьё Пулэна и наняли задешево русского студента Н. П. Смирнова. Во многих домах в Москве были тогда французы-гувернеры, обломки наполеоновской великой армии. Пулэн тоже принадлежал к ней и только что закончил воспитание младшего сына романиста Загоскина. В Старой Конюшенной Сережа Загоскин считался таким благовоспитанным молодым человеком, что отец мой, не колеблясь, пригласил Пулэна за высокую по тому времени плату в 600 руб. в год.

Пулэн явился со своей охотничьей собакой, Трезором, наполеоновским кофейником, французскими учебниками и стал править нами и крепостным Матвеем, которого приставили нам в прислуги. Его план воспитания был очень прост. Разбудив нас, он приготовлял кофе, который пил в своей комнате. В то время как мы приготовляли уроки, он очень тщательно занимался своим туалетом: зачесывал свои седые волосы так, чтоб скрыть расползавшуюся плешь, надевал фрак, прыскал себя и вытирал одеколоном, а затем вел нас

вниз поздороваться с родителями. Отца и мачеху мы обыкновенно заставали за утренним кофе. Подойдя к ним, мы повторяли официальным тоном:—Bonjour, mon cher papa.—Bonjour, ma chère maman",—и затем целовали руки. Мосьё Пулэн выделывал очень сложный и элегантный пируэт, произнося:—Bonjour, monsieur le prince,—Bonjour, madame la princesse. Выполнив все это, мы немедленно уходили к себе наверх. Эта церемония повторялась каждое утро.

Затем, начиналось наше учение. Мосьё Пулэн, вместо фрака, облачался в халат, надевал на голову кожаную шапочку, погружался в кресло и говорил:—Скажите урок.

Мы сказывали „наизусть", от одного места, отмеченного нам ногтем, до другого. Мосьё Пулэн принес с собою памятную не одному поколению русских мальчиков и девочек грамматику Ноэля и Шапсаля, книжку французских вокабул, всемирную историю в одном томике и всеобщую географию тоже в одной книжке. Мы должны были вызубрить грамматику, вокабулы, историю и географию. С грамматикой, начинавшейся знаменитой фразой: „Что такое грамматика? Искусство правильно читать и писать", с грамматикой, говорю, дело обходилось благополучно. Но, к несчастью, история начиналась с предисловия, в котором перечислялись все выгоды, проистекающие из знания этой науки. С первыми предложениями дело шло довольно гладко. Мы твердили: „Государь находит в истории примеры великодушия, чтоб следовать им при управлении своим народом; полководец изучает по ней благородное искусство ратного дела". Но как только мы добирались до юриспруденции, все портилось. „Юрисконсульт находит в истории", но что именно находит он, мы так и не могли узнать. Трудное слово „юрисконсульт" портило все. Как только мы добирались до него, мы останавливались.

— На колени, gros pouff!—(Это ко мне) восклицал Пулэн.—На колени, gran dada!—(Это по адресу брата).—И мы становились на колени и обливались слезами, тщетно стараясь выучить, что находит юрисконсульт в истории.

Это предисловие дорого нам обошлось! Мы уже выучили про римлян. Мы бросали, „как Брен“ палки на чашки весов, когда Ульяна отвешивала рис. Подражая Курцию, мы, для спасения отчизны, прыгали в бездну со стола; но Мосьё Пулэн все еще время от времени возвращал нас к предисловию и ставил на колени все из-за того же юрисконсульта. Нужно ли удивляться после этого, что и я и мой брат возымели неопреодолимое отвращение к юриспруденции!

Не знаю, что стало-бы с географией, если бы в книжке мосьё Пулэна тоже было бы предисловие. К счастью, первые двадцать страниц были вырваны (я думаю, эту великую услугу оказал нам Сережа Загоскин). В силу этого наши уроки начались прямо с двадцать первой страницы, со слов: „Из рек, орошающих Францию“.

Должен сознаться, что дело не всегда кончалось наказанием на колени. В классной имелась также розга, к которой и прибегал мосьё Пулэн, когда на прогресс в предисловии или же в диалогах о добродетели и благопристойности не было больше надежды. Но однажды сестра Лена, которая только что возвратилась из Екатерининского института и занимала комнату под нашей классной, услыхав наш плач, стремительно вбежала в слезах в кабинет к отцу. Она горько стала упрекать его за то, что он отдал нас мачехе, которая сдала нас на произвол „отставному французскому барабанщику“.

— Конечно,—она кричала в слезах,—здесь некому заступиться за них; но я не могу видеть, как барабанщик обращается с моими братьями.

Отец был захвачен врасплох и смешался. Он сначала стал бранить Лену, но кончил тем, что похвалил за любовь к братьям. С тех пор розга сохранилась лишь для того, чтобы внушать Трезору правила благопристойности.

Покончив с тяжелыми учительскими обязанностями, мосьё Пулэн мгновенно преображался; пред нами был уже не свирепый педагог, а веселый товарищ. После завтрака он водил нас на прогулку, и здесь не было конца его рассказам. Мы болтали, как птички. Хотя мы не забирались с Пулэном дальше первых страниц

синтаксиса, но мы скоро научились „правильно говорить". Мы стали думать по-французски. Когда же он продиктовал нам полкниги о мифологии (он исправлял ошибки по книге, никогда не пытаясь даже объяснить, почему слово должно быть писано так, а не иначе), то мы постигли также, как „правильно писать".

После обеда мы занимались с учителем русского языка, студентом юридического факультата Московского университета. Он обучал всем „русским" предметам: грамматике, арифметике и т. п. В те годы серьезное учение еще не начиналось. Одновременно он диктовал нам ежедневно по странице из истории, и таким образом мы на практике быстро научились совершенно правильно писать по-русски.

Наше лучшее время бывало по воскресеньям, когда все наши, кроме детей, отправлялись на обед к генеральше Тимофеевой. Порой случалось также, что отпуск получали в этот день Пулэн и Н. П. Смирнов. В таком случае мы оставались на попечении Ульяны. Наскоро пообедав, мы отправлялись в парадный зал, куда скоро являлась и молодежь из горничных. Затевались всевозможные игры: в жмурки, в коршуна и т. д. Затем мастер на все руки Тихон являлся со скрипкой. Начиналась пляска; не скучные, мерные танцы под управлением танцмейстера француза „на резиновых ножках" (танцы входили в программу нашего воспитания), а живой танец, не урок. Пар двадцать кружились в разные стороны, но это было лишь вступлением к еще более оживленному казачку. Тихон тогда вручал скрипку одному из стариков и начинал вывертывать ногами такие мудреные фигуры, что в дверях показывались повара и даже кучера, желавшие поглядеть на любезный их сердцу танец.

В девять часов за нашими посылалась большая карета. Тихон, вооружившись щеткой, ползал по паркету, чтобы восстановить опять его девственный блеск. В доме воцарялся образцовый порядок. И если бы нас с братом на другой день подвергли самому строгому допросу, мы не обмолвились бы ни словом о развлечениях предыдущего вечера. Мы ни за что не выдали бы никого из слуг, точно так же, как никто из них не выдал бы нас.

Раз в воскресенье мы с братом играли одни в большом зале и набежали на подставку, поддерживавшую дорогую лампу. Лампа разбилась вдребезги. Немедленно же слуги собрали совет. Никто не упрекал нас. Решено было, что на другой день рано утром Тихон, на свой страх и ответственность, выберется тихонько, побежит на Кузнецкий мост и там купит такую же лампу. Она стоила пятнадцать рублей,—для дворовых громадная сумма. Но лампу купили, а нас никогда никто не попрекнул даже словом.

Когда я думаю теперь о прошлом и в моей памяти восстают все эти сцены, я припоминаю также, что во время игр мы никогда не слыхали грубых слов; не видали мы также в танцах ничего такого, чем теперь угощают детей даже в пантомимах. В людской, промеж себя, слуги, конечно, употребляли неприличные выражения. Но мы были дети, ее дети, и это охраняло нас от всего.

В те времена детей не заваливали такой массой игрушек, как теперь. Собственно говоря, их у нас почти вовсе не имелось, и мы вынуждены были прибегать к нашей собственной изобретательности. С другой стороны, мы с братом рано приобрели вкус к театру. Впечатление, произведенное масленичными балаганами, с их представлениями, с сражениями и с разбойниками, продолжалось не долго: мы сами предостаточно играли в казаков и разбойников. Но в Москву прибыла балетная звезда первой величины, Фанни Эльслер, и мы увидали ее. Когда отец покупал билет в театр, то брал всегда лучшую ложу, не жалея денег; но зато он хотел, чтобы за эти деньги наслаждалась вся семья. Взяли и меня, несмотря на то, что я был тогда очень мал. Фанни Эльслер произвела на меня такое глубокое впечатление грациозностью, воздушностью и изяществом всякого движения, что с тех пор танцы, относящиеся скорее к области гимнастических упражнений, чем искусства, меня никогда не интересовали.

Нечего и говорить, что „Гитану, Испанскую цыганку", балет, в котором Эльслер участвовала, мы решили поставить дома, т. е. содержание балета, а не танцы.

У нас была готовая сцена: дверь из спальни в классную закрывалась занавесью. Несколько стульев полукругом и кресло для мосьё Пулэна составили зрительный зал и царскую ложу. Публику мы легко собрали: тут были Ульяна, русский учитель и две-три горничные. Мы решили во что бы то ни стало поставить две сцены: ту, в которой цыгане привозят в табор маленькую Гитану в тачке, и ту, где Гитана в первый раз появляется на сцене, спускается с пригорка и переходит по мосту через ручей, в котором отражается ее образ. Зрители тогда стали бешено аплодировать, и мы решили, что рукоплескания были вызваны отражением в ручье.

Для роли Гитаны мы выбрали одну из самых маленьких девочек в девичьей. Ее оборванное пестрядевое платье не составляло препятствия. Перевернутый стул вполне заменил тачку. Но ручей! Из двух кресел да гладильной доски портного Андрея мы соорудили мост, а из куска синей китайки—ручей. Для получения отражения мы пустили в ход маленькое круглое зеркало, перед которым брился м. Пулэн; но сколько мы ни старались, отражение во весь рост не получалось. После многих неудачных попыток мы должны были отказаться от опытов с зеркалом. Но мы упросили Ульяну, чтобы она поступила так, как будто бы видела отражение в ручье и аплодировала бы громко. Таким образом, в конце концов, мы сами начали верить, что, быть может, что-нибудь и видно в самом деле.

Расиновская „Phèdre“ или, по крайней мере, последний акт трагедии, сходила тоже очень не дурно, а именно, Саша прекрасно декламировал звучные стихи:

„A peine nous sortions des portes de Trézène“,

а я сидел совершенно неподвижно, во все время трагического монолога, возвещавшего мне о смерти сына, до тех пор, покуда я, согласно книжке, должен был подать реплику: „O, dieux!“.

Но что бы мы ни играли, все наши представления неизменно заканчивались адом. Мы тушили все свечи,

кроме одной, которую ставили за прозрачный экран, намазанный сурпком, что должно было изображать пламя. Мы с братом затем прятались и принимались отчаянно выть, как осужденные грешники. Ульяна не любила поминать чорта к ночи и пугалась, но я задаю себе вопрос, не содействовало ли это слишком конкретное представление ада, при помощи сальной свечки и листа бумаги, тому, что мы с братом в раннем возрасте освободились от страха геены огненной. Наше представление было слишком реально, чтобы не пробудить скептицизма.

Вероятно, я был очень мал, когда увидал знаменитых московских актеров: Щепкина, Садовского и Шумского в „Ревизоре“ и в „Свадьбе Кречинского“. Тем не менее, я живо помню не только все выдающиеся сцены в обеих комедиях, но даже интонацию наших великих актеров реалистической школы: их игра так сильно запечатлелась во мне, что когда я впоследствии видел те же пьесы в Петербурге в исполнении актеров французской декламаторской школы, я не мог выносить их. Я сравнивал этих актеров с Щепкиным и Садовским, установившим мой вкус в драматическом искусстве. Это наводит меня кстати на мысль, что родители, желающие воспитать в детях художественный вкус, должны их брать изредка в театр, смотреть хороших актеров в хороших пьесах, а не так называемые детские пантомимы.

IV.

На восьмом году в моей жизни произошло событие, определившее, как пойдет мое дальнейшее воспитание. Я не знаю в точности—по какому случаю, но полагаю, что по поводу двадцатипятилетия со дня вступления на престол Николая I,—в Москве подготовлялся грандиозный бал. Двор должен был прибыть в старую столицу, и московское дворянство решило ознаменовать событие костюмированным балом, в котором детям предстояло принять видное участие. Решено было, что приветствовать государя должны все различные народ-

ности, входящие в состав империи. Как у нас, так и у соседей шли большие приготовления. Для нашей мачехи был приготовлен замечательный русский костюм. Так как отец был военный, то, разумеется, он должен был явиться в мундире; но те из наших родственников, которые не служили, не менее дам были заняты приготовлением русских, греческих, кавказских, монгольских и других костюмов. Когда московское дворянство дает бал государю, вечер должен отличаться необыкновенной пышностью. Нас с братом считали слишком молодыми, чтобы принять участие в торжестве.

Но, в конце концов, я попал-таки на бал. Наша мать очень дружила с Назимовой, женой генерала, который был Виленским губернатором, когда заговорили об освобождении крепостных. Назимовой, очень красивой женщине, предстояло явиться, в сопровождении десятилетнего сына, в великолепном костюме персидской царевны. Соответственно и сын должен был быть в очень богатом костюме, перехваченном поясом, украшенным драгоценными камнями. Но мальчик заболел как раз перед балом, и Назимова решила, что один из сыновей ее лучшего друга лучше всего заменит больного. Нас с Сашей повезли к Назимовой, чтобы примерить костюм. Он оказался короток для Александра, который был гораздо выше меня ростом; но мне костюм пришелся как раз в пору. В силу этого решили, что изображать персидского царевича буду я.

Громадный зал собрания московского дворянства был наполнен гостями. Каждому из детей вручили жезл с гербом одной из шестидесяти губерний Российской империи. На моем жезле значился орел, парящий над голубым морем, что, как я узнал впоследствии, изображало герб Астраханской губернии. Нас выстроили в конце громадного зала; затем мы попарно подходили к возвышению, на котором находились император и его семья. Когда мы подходили, то расходились направо и налево и выстраивались, таким образом, в один ряд перед возвышением. Тогда, по данному нам приказанию, мы склонили все жезлы с гербами перед Николаем... Апофеоз самодержавия вышел

очень эффектный. Николай был в восторге. Все провинции преклонялись перед верховным правителем. Затем мы, дети, стали медленно уходить вглубь залы.

Но тут произошло некоторое замешательство; засуетились камергеры в расшитых золотом мундирах, и меня вывели из рядов. Мой дядя, князь Гагарин, одетый тунгусом (я не мог наглядеться на его кафтан из тонкой замши, на его лук и на колчан, наполненный стрелами), поднял меня на руки и поставил на платформу перед царем.

Не знаю, потому ли, что я был самый маленький в процессии, или потому, что мое круглое лицо с кудрями казалось особенно потешно под высокой смушковой шапкой, но Николай пожелал видеть меня на платформе. Мне потом сказали, что Николай, любивший всегда казарменные остроты, взял меня за руку, подвел к Марии Александровне (жене наследника), которая тогда ждала третьего ребенка и, по-солдатски, сказал ей:—Вот каких молодцов мне нужно! — Эта острота, конечно, заставила Марию Александровну покраснеть. Во всяком случае, я очень хорошо помню, как Николай спросил, хочу ли я конфет, на что я ответил, что хотел бы иметь крендельков, которые нам подавали к чаю в торжественных случаях. Николай подозвал лакея и высыпал полный поднос в мою высокую шапку.

— Я отвезу их Саше,—сказал я Николаю.

В конце концов, фельдфебелеобразный брат Николая, Михаил, имевший репутацию остряка, ухитрился-таки заставить меня заплакать.

— Когда ты пай-дитя, тебя гладят вот так,—сказал он и провел своею большою рукою по моему лицу сверху вниз.

— Когда же ты шалишь, тебя гладят вот эдак,— и он провел рукой вверх, сильно нажимая нос, который и без того проявлял уже наклонность расти кверху. На моих глазах показались слезы, которые я напрасно старался удержать. Дамы, впрочем, заступились за меня. Добрая Марья Александровна взяла меня под свое покровительство. Она усадила меня рядом с собою на высокий с золоченой спинкой бархатный стул. Мне

говорили впоследствии, что я скоро заснул, положив голову ей на колени, а она не вставала с места во все время бала. Помню я также, что родные, когда мы дожидались кареты, гладили меня по голове, целовали и говорили:—Петя, ты назначен пажом!—на что я отвечал:—я не паж, я домой хочу,—и очень был озабочен моей шапкой, в которой лежали предназначенные для Саши крендельки.

Не знаю, много ли их досталось Саше; но помню, что крепко обнял он меня, когда ему сказали, как я беспокоился о шапке.

Быть записанным в кандидаты в пажеский корпус—считалось тогда большою милостью. Николай редко ее оказывал московскому дворянству. Отец мой был в восторге и мечтал уже о той блестящей карьере, которую сделает при дворе сын. Когда моя мачеха рассказывала это событие, она никогда не забывала прибавить: —А все это потому, что я его благословила пред балом.

Назимова была в восторге и заказала акварельный портрет, на котором изображена она в персидском костюме, и я—рядом с ней.

Через год решилась также судьба Александра. В это время праздновался в Петербурге юбилей Измайловского полка, в котором отец служил в молодости. Раз ночью, когда в доме все спали глубоким сном, у ворот остановилась, гремя колокольчиками, тройка. Выскочил из кибитки фельдъегерь и громко крикнул: — Отоприте! Приказ от его величества государя императора!..

Можно легко себе представить, какой ужас нагнало на весь дом это ночное посещение. Дрожащий отец спустился в кабинет. „Военный суд, разжалованье в солдаты“—мерещилось тогда каждому офицеру. То было ведь ужасное время. Оказалось, однако, что Николай просто пожелал иметь имена всех сыновей офицеров, когда-либо служивших в Измайловском полку, чтобы распределить мальчиков по военным учебным заведениям, если это еще не было сделано. С этой-то целью и послали из Петербурга в Москву курьера, который и днем и ночью стучался в дома всех бывших офицеров Измайловского полка.

Дрожащей рукой отец записал, что его старший сын Николай уже учится в первом московском кадетском корпусе, что младший сын Петр—кандидат в Пажеский корпус и что остается лишь средний сын Александр, который еще не поступил в военно-учебное заведение. Через несколько недель пришла бумага, извещавшая отца о „монаршей милости". Александра повелевалось определить в Орловский кадетский корпус. Отцу стоило не мало хлопот и денег, чтобы добиться позволения определить Александра в Московский кадетский корпус. Новая „милость" была оказана только в виду того, что старший сын уже учился в этом корпусе.

Таким образом, по воле Николая I, нам обоим предстояло получить военное воспитание, хотя через несколько лет мы возненавидели военную службу по причине ее нелепости. Но Николай бдительно следил за тем, чтобы все сыновья дворян, кроме хворых, избирали бы только военную карьеру. Таким образом, к великому утешению отца, мы все трое должны были стать офицерами.

V.

В то время богатство измерялось числом „душ", которыми владел помещик. „Души" означали крепостных мужского пола. Женщины в счет не шли. Мой отец считался богатым человеком. У него было около—1.200 душ в трех различных губерниях и еще большие земли. Он жил соответственно положению. Это значило, что дом был открыт для гостей и что отец держал многочисленную дворню. В семье нас было восемь человек, иногда десять или двенадцать; между тем, пятьдесят человек прислуги в Москве и около шестидесяти в деревне не считалось слишком большим штатом. Тогда казалось бы непонятным, как можно обойтись без четырех кучеров, смотревших за двенадцатью лошадьми, без трех поваров для господ и кухарок для людей, без двенадцати лакеев, прислуживавших за столом во время обеда (за каждым обедающим стоял лакей с тарелкой), и без бесчисленных горничных в девичьей.

В то время заветным желанием каждого помещика было, чтобы все необходимое в хозяйстве изготовлялось собственными крепостными людьми. Все это вот для чего. Если кто-нибудь из гостей заметит:

— Как хорошо настроен ваш рояль. Ваш настройщик, вероятно, Шиммель? —

то истинный барин отвечал:

— У меня собственный настройщик.

— Что за прекрасное пирожное!—бывало воскликнет кто-нибудь из гостей, когда к концу обеда появлялось своего рода художественное произведение из мороженого и печений. — Признайтесь, князь, это от Tremblé? (Модный кондитер того времени).

— Нет, это делал мой собственный кондитер ученик Tremblé. Я позволил ему сегодня показать свое искусство.

Заветным желанием каждого богатого и знатного помещика было иметь мебель, сбрую, вышивки, словом все от собственных мастеров. Когда детям дворовых исполнялось десять лет, их отдавали на выучку в модные мастерские. Пять или семь лет они подметали лавку, получали бесчисленные колотушки и состояли главным образом на побегушках. Я должен сказать, что не многие выучивались в совершенстве ремеслу. Портные и сапожники могли шить платье и сапоги только на прислугу; когда же нужно было действительно хорошее пирожное, его заказывали у Трамблэ, а наш кондитер в это время играл на барабане в крепостном оркестре. Этот оркестр был другим пунктом тщеславия моего отца; почти каждый дворовый, помимо своего ремесла, состоял еще басом или кларнетом в оркестре. Настройщик Макар, он же помощник дворецкого, играл также на флейте. Портной Андрей играл на волторне. Обязанностью же кондитера было вначале бить в барабан; но он так усердствовал, что оглушал всех. Тогда ему купили чудовищную трубу в надежде, что, быть может, легкими он не будет в состоянии производить такой шум, как руками. Но когда и эта надежда не оправдалась, его сдали в солдаты. Что же касается рябого Тихона, то помимо бесчисленных обязанностей в доме, в роли

ламповщика, полотера или выездного лакея, он еще не без пользы помогал в оркестре, сегодня на тромбоне, завтра на контр-басе, а не то и как вторая скрипка.

Две первые скрипки составляли единственное исключение из правила. Они были только скрипками. Отец купил их за большие деньги, с семьями, у сестер (он никогда не покупал крепостных у посторонних и не продавал людей чужим). И вот, по вечерам, когда отец не уезжал в клуб, или когда у нас бывали гости, играл оркестр из двенадцати или пятнадцати музыкантов и играл очень недурно. На наш оркестр был большой спрос, когда соседи, в особенности в деревне, устраивали вечера с танцами. Каждый раз, конечно, в подобных случаях нужно было спросить разрешения отца.

Ничто не доставляло отцу такое удовольствие, как когда к нему обращались с просьбой по поводу оркестра или чего-либо другого: например, определить мальчика на казенный счет в школу или освободить кого-нибудь от наказания, наложенного судом. Хотя отец способен был на взрывы бешенства, но по натуре, без сомнения, он был довольно мягкий человек. И когда к нему обращались за протекцией, он писал десятки писем во все стороны, ко всем высокопоставленным лицам, которые могли быть полезны его protégé. В таких случаях его и без того немалая переписка увеличивалась еще полдюжиной специальных писем, написанных в крайне характерном, полуофициальном, полушуточном тоне. Каждое письмо, конечно, запечатывалось гербовой печатью отца. Большой квадратный конверт шумел, как детская погремушка, по причине песка, которым густо посыпалось письмо. Промокательную бумагу в то время еще не знали. Чем труднее была просьба, тем большую энергию проявлял отец, покуда не добивался просимого для protégé, которого во многих случаях никогда даже в глаза не видал.

Отец мой любил, чтобы у него были гости. Обедали мы в четыре, а в семь вся семья собиралась вокруг самовара. В это время мог приходить всякий,

принадлежавший к нашему кругу. В особенности не было недостатка в гостях, когда Лена возвратилась из института. Если в окнах, выходивших на улицу, был свет, знакомые знали, что наши — дома и что гостям будут рады.

Гости собирались почти каждый вечер. В зале раскрывались ломберные столы. Молодежь же и дамы оставались в гостиной или же собирались возле лениного рояля. После ухода дам картежная игра продолжалась до рассвета, и значительные суммы переходили тогда из рук в руки. Отец мой постоянно проигрывал. Опасной для него, однако, являлась игра не дома, а в английском клубе, где ставки были выше. В особенности опасно было, когда отца звали на партию „с очень почтенными господами" в один из наиболее уважаемых домов в Старой Конюшенной, где большая игра шла всю ночь. В подобных случаях отец проигрывал очень много.

Нередко устраивались танцовальные вечера, не говоря уже о двух обязательных балах каждую зиму. В подобных случаях отец не смотрел на издержки, а устраивал все как можно лучше. В то же время в будничной нашей жизни проявлялась такая скаредность, что если бы я стал рассказывать подробности, их сочли бы за преувеличение. Об одном претенденте на французский престол, который прославился великолепными охотничьими партиями, говорят, что в его доме даже сальные огарки были на счету. Такая же мелочная экономия во всем практиковалась и в нашем доме, и скупость доходила до того, что мы, дети, когда выросли, возненавидели бережливость и расчет. Впрочем в Старой Конюшенной такая манера жить заставила лишь всех относиться еще с большим уважением к отцу.

— Старый князь,—говорили все,—скуповат на домашние расходы, зато уж знает, как следует жить дворянину.

На наших тихих и чистеньких уличках именно такая жизнь уважалась в особенности. Один из наших соседей, генерал Д., вел дом на широкую ногу; а между тем ежедневно между барином и поваром

происходили крайне комические сцены. После завтрака старый генерал, посасывая трубку, сам заказывал обед.

— Ну, братец,—говорил он повару, в белоснежной куртке и колпаке,— сегодня нас будет немного, не более двух-трех гостей. Ты соорудишь суп, знаешь, с какой-нибудь первинкой: с зеленым горошком, фасолью...

— Слушаю-с, ваше превосходительство.

— Затем смастери, что хочешь сам, на второе.

— Слушаю-с, ваше превосходительство.

— Конечно, спаржа еще дороговата, хотя я видел вчера в лавке такие славные пучки.

— Точно так, ваше превосходительство, по четыре целковых за пучок.

— Совершенно верно. Ну, твои жареные цыплята и индейки нам надоели до смерти. Ты приготовь нам что-нибудь новое.

— Не прикажете ли дичи, ваше превосходительство?

— Да, да, братец, что-нибудь такое.

Когда все шесть блюд бывали обсуждены, старый генерал спрашивал:

— Ну, а сколько тебе дать на расходы? Я думаю, три рубля хватит.

— Десять целковых, ваше превосходительство.

— Не говори глупостей, любезный. Вот тебе три рубля. Я знаю, что их—за глаза достаточно.

— Как же так! Четыре целковых за спаржу да два с полтиной за зелень.

— Ну, слушай, любезный, посовестись. Так и быть, прибавлю еще три четвертака, а ты экономничай.

Торг, таким образом, продолжался около получаса. Наконец, сходились на семи рублях с четвертаком, с условием, чтоб обед на другой день стоил бы не больше полутора рублей. Генерал, счастливый тем, что устроил все так выгодно, приказывал закладывать сани и отправлялся в модные лавки, откуда возвращался сияющий и привозил жене флакон тонких духов, за который заплатил бешеную цену во французском магазине. Единственной дочери он сообщал при этом, что пришлют от мадам такой-то для примерки

„Очень простенькую" и очень дорогую бархатную мантилью.

Вся наша бесчисленная родня со стороны отца жила точно таким же образом. Если порой проявлялись какие-нибудь новые стремления, они, обыкновенно, принимали религиозную форму. Так, например, к великому смущению „всей Москвы" один князь Гагарин поступил в орден иезуитов; другой молодой князь пошел в монастырь, а несколько старых дам стали отчаянными святошами.

Бывали и исключения. Один из наших ближайших родственников, назову его Мирским, провел молодость в Петербурге, где служил в гвардии. Иметь крепостного портного или мебельщика его не занимало. Дом его был великолепно убран, а платье он носил от лучшего портного. Он не любил карт и играл лишь с дамами; зато его слабостью была еда, на которую он тратил невероятные деньги.

В особенности развертывался он во время поста и Пасхи. Постом он погружался всецело в изобретение тонких рыбных блюд. С этой целью он перерывал лавки в обеих столицах. Из вотчин командировались специальные гонцы к устьям Волги, чтобы доставить оттуда на почтовых (железных дорог тогда еще не было) громадного осетра или какой-нибудь необыкновенный балык. Когда же наступала Пасха, его изобретательности не было конца.

Пасха—наиболее чтимый и наиболее веселый праздник в России,—праздник весны. Тают громадные сугробы, лежащие всю зиму, и бурные ручьи бегут по улицам. Весна приходит не как тать, крадучись незаметно, но открыто. Каждый день замечается перемена как в снежных сугробах, так и в наливающихся почках. Ночные морозы лишь слегка замедляют оттепель. В мое время страстная неделя встречалась в Москве необыкновенно торжественно. Толпы народа ходили в церкви, особенно в четверг, послушать те трогательные места Евангелия, в которых говорится о страданиях Христа. На страстной не ели даже рыбной пищи, а наиболее благочестивые вовсе не

касались еды в страстную пятницу. Тем более разительен был переход к Пасхе.

В субботу все отправлялись ко всенощной. Начало ее, как известно, очень печально. Но в полночь возвещается о Воскресении Христовом. Все церкви разом освещаются. С сотен колоколен раздается радостный трезвон колоколов. Начинается всеобщее веселье... Церкви, залитые светом, пестреют нарядными туалетами дам. Даже самая бедная женщина постарается на Пасху надеть обновку, и если она шьет себе новое платье только раз в год, то сошьет его, конечно, к этому дню.

Как и тогда, так и теперь Пасха является также временем крайней невоздержанности в пище. В богатых домах готовятся к этому времени самые вычурные пасхи и куличи, и как бы беден кто не был, он должен иметь хотя б одну пасху и маленький кулич и хотя бы одно красное яйцо, чтобы освятить их в церкви и разговеться.

Большинство начинало есть ночью, после заутрени, непосредственно после того, как освещенные куличи приносились из церкви. В богатых же барских домах розговенье откладывалось до воскресенья. К утру накрывался громадный стол и устанавливался всякого рода яствами, и, когда господа выходили в столовую, вся многочисленная дворня, вплоть до последней судомойки, приходила христосоваться.

Всю пасхальную неделю в зале стоял накрытый стол, и гости приглашались закусить. И в этом случае князь Мирский превосходил самого себя. Бывал ли он в Петербурге или же в Москве, гонцы одинаково привозили ему из деревни нарочито приготовленный творог для пасок, из которого повар мастерил своего рода художественные произведения. Другой нарочный скакал в новгородскую деревню за медвежьим окороком, который специально коптился для княжеского пасхального стола.

Княгиня бывала всю страстную неделю в очень удрученном настроении, посещая с двумя дочерьми самые суровые монастыри, где каждая всенощная длилась по три и по четыре часа, и съедая только кусок

черствого хлеба в промежутках между службами и посещением православных, католических и протестантских проповедников. А муж ее в это время каждое утро объезжал знаменитые Милютины лавки, где гастрономы находят деликатесы со всех концов земли. Здесь князь выбирал для пасхального стола все самое дорогое и тонкое. Зато во время пасхальной недели сотни гостей являлись к нему, и их просили „только попробовать" ту или другую диковину.

Кончилось тем, что князь ухитрился буквально проесть свое значительное состояние. Его роскошно омеблированный дом и прекрасное имение продали, и на старости лет у князя и княгини ничего не осталось, не было даже своего угла. Они должны были жить у детей.

Так шла жизнь в наших краях, и нечего удивляться поэтому, что после освобождения крестьян почти вся Старая Конюшенная разорилась. Но я забегаю вперед.

VI.

Было бы разорительно содержать такую многочисленную дворню, как у нас, если бы приходилось всю провизию покупать в Москве. Но во время крепостного права все устраивалось очень просто. Когда наступала зима, отец садился за стол и писал:

„Бурмистру моему, села Никольского, Калужской губернии, Мещовского уезда, на реке Сирене, от князя Алексея Петровича Кропоткина, полковника и кавалера — приказ:

„По получении сего, как только установится санный путь, предписывается тебе отправить в мой дом, в город Москву, двадцать пять крестьянских парных подвод, по лошади от двора, да по человеку и по дровням от другого; нагрузить столько-то четвертей овса, столько-то пшеницы, столько-то ржи, а также кур, гусей и уток, которые должны быть убиты в эту зиму, хорошо заморожены, хорошо упакованы и препровождены при описи с верными людьми". В том же духе шли две страницы до точки. Далее шло перечисление

наказаний, которые постигнут виновников, если провизия не прибудет во-время и в хорошем состоянии в дом номер такой-то и на такой-то улице.

Незадолго до Рождества двадцать пять крестьянских саней действительно въезжали в ворота и заполняли весь громадный двор.

Как только докладывалось отцу об этом важном событии, он начинал звать громко:

— Фрол! Кирюшка! Егорка! Где вы там! Все раскрадут! Фрол! ступай принимать овес. Ульяна! ступай принимать птицу. Кирюшка! зови княгиню!

Во всем доме начиналось смятение. Слуги метались, как угорелые, во все стороны, из передней во двор, а из двора опять в переднюю, но, главным образом, в девичью, чтобы сообщить никольские новости. „Паша выходит замуж после Рождества. Тетка Анна отдала Богу душу“ и т. п. Прибывали также и письма из деревни. Вскоре которая-нибудь из горничных уже пробиралась наверх в мою комнату.

— Петенька, вы одни? Учителя нет?

— Нет, он в университете.

— Так ты, пожалуйста, прочитай письмо от матери.

И я принимался читать наивное письмо, которое неизменно начиналось словами: „Родители шлют тебе свое благословление навеки нерушимое“. Затем следовали уже новости: „Тетка Афросинья больна, ноют у ней все кости. Братан еще не женился, но уповаем, женится на красную горку. Тетки Степаниды корова пала на Всех Святых“. За новостями шли две страницы поклонов: „Братец Павел посылает поклон, и сестрицы Марья да Дарья шлют поклон и еще низкий поклон от дяди Митрия“ и т. д. Несмотря на монотонность перечисления, каждое имя вызывало какое-нибудь замечание. „Значит, еще жива, бедная! Вот уже девять лет, как она лежит пластом“. Или: „Ишь, не забыл меня. Значит, вернулся к Рождеству. Такой славный парень. Вы напишете мне письмецо? Тогда и его не забыть бы“. Я обещал, конечно, и в должное время писал письмо точно в таком же роде.

Когда сани бывали разгружены, передняя наполнялась крестьянами. Они стояли в армяках поверх по-

лушубков и дожидались, покуда отец позовет их в кабинет, чтобы расспросить о том, каков снег выпал и каковы виды на урожай. Они робели ступать по навощенному паркету, и немногие решались присесть на кончик дубовой скамьи. Они наотрез отказывались от стульев. Так они дожидались целыми часами, глядя с тоской на каждого входившего или же выходившего из кабинета.

Несколько попозже, обыкновенно на другой день, кто-нибудь из слуг украдкой пробирался в нашу классную комнату.

— Князинька, вы одни?

— Да.

— Так бегите скорее в переднюю. Мужики хотят вас видеть. Гостинцы привезли от кормилицы.

Когда я спускался в переднюю, кто-нибудь из крестьян вручал мне узелок с гостинцем: несколько ржаных лепешек, полдюжины крутых яиц и несколько яблок. Все это бывало завязано в пестрый ситцевый платок.

— Вот это тебе гостинцы от кормилицы Василисы. Уж не замерзли ли яблоки? Авось, нет. Я их всю дорогу держал за пазухой. Да уже не дай бог какой мороз! — И широкое, бородатое лицо сияло от улыбки, а из-под густой стрехи усов сверкали два ряда ослепительных зубов.

— А это для братца от его кормилицы Анны, — прибавлял другой, вручая мне такой же узелок.—Бедный, — сказывала она, — поди, никогда не доест-то там в корпусе.

Я краснел и не знал что ответить. Наконец я бормотал:—Скажи Василисе, что я целую ее; то же самое скажи Анне от брата.—При этом лица у крестьян еще более расцветали.

— Да, ужо передам, само собою.

Кирилла, который караулил у дверей отцовского кабинета, начинал шептать:—Бегите скорее наверх, папаша сейчас выйдут. — Не забудьте платок; они хотят его взять обратно,—шептал он, догоняя меня на лестнице; и когда я тщательно складывал поношенный

платок, мне сильно хотелось послать Василисе что-нибудь. Но у меня ничего не было, не было даже игрушек. Никогда нам не давали карманных денег.

Лучшее наше время было, конечно, в деревне. Когда проходила Пасха и Троица, все наши мысли бывали сосредоточены на Никольском. Но время шло; по нашим соображениям, сирень должна была уже отцвести в деревне, а, между тем, тысяча дел все еще задерживала отца в городе. Наконец во двор въезжало пять или шесть крестьянских телег, чтобы забрать все необходимое для деревни. Выкатывались и еще раз осматривались старинная карета и другие экипажи, в которых мы должны были ехать. Начинали укладывать сундуки. Ученье наше подвигалось медленно. Ежеминутно мы прерывали учителей вопросами, следует ли с собой взять ту или другую книгу. Гораздо раньше остальных мы начинали укладывать наши книги, доски и самодельные игрушки.

Наконец все готово: возы нагружены необходимой для деревни мебелью, ящиками с кухонной посудой и бесчисленными пустыми банками для варенья и соленья. Мужики целыми часами ждут ежедневно в передней. Но приказ тронуться в путь еще не отдавался. Отец все писал по утрам в кабинете, а вечером уходил в клуб. Наконец вмешивалась мачеха, так как ее горничная решилась доложить, что мужикам давно пора домой, так как близится сенокос.

На следующее утро звали в кабинет дворецкого Фрола и первую скрипку Михайлу Алеева. Дворецкому вручался мешок с кормовыми деньгами для 40-50 человек, которые должны были сопровождать нас в Никольское, и „реестр“. В нем перечислялись все: оркестр в полном составе, затем повара и поваренки, прачки и подпрачка, наделенная шестью ребятишками, Полька Косая, Домна Большая и Домна Малая. Никто не был забыт.

Первой скрипке вручался маршрут. Я помню его хорошо, потому что отец, видя, что сам никогда не управится, всегда бывало велит мне переписать маршрут в книгу для „исходящих бумаг“.

„Моему дворовому Михайлу Алееву, от князя Алексея Петровича Кропоткина, полковника и кавалера — приказ:

„Предписывается тебе тронуться с моим обозом 29 мая, в шесть часов утра, из города Москвы в деревню мою Никольское, Калужской губернии, Мещовского уезда, на реке Сирене, в 200 верстах от сего дома; смотреть за хорошим поведением людей, порученных тебе, а если кто-либо из них провинится в пьянстве или неповиновении, то ты должен доставить виновного к начальнику гарнизонной службы, вместе с приложенным циркулярным письмом, и просить о наказании оного (первая скрипка понимал уже кого) в пример другим.

„Приказывается тебе в особенности смотреть за целостью вещей, доверенных тебе, и ехать согласно маршруту: первый день остановиться в такой-то деревне покормить лошадей; второй день ночевать в городе Подольске". И так далее точно было указано, как провести все семь или восемь дней в пути.

На следующий день, в десять, вместо шести — точность не в числе русских добродетелей („Слава богу, мы не немцы!") — обоз трогался в путь. Слугам предстояло итти пешком. Лишь ребятишкам уступалось место, где-нибудь в ванне или же в ящике на самом верху нагруженного воза, да женщины иногда могли присесть на край телеги. Остальные шли пешком все двести верст. Покуда шли Москвой, соблюдалась дисциплина: безусловно было запрещено запрятывать панталоны в сапоги и опоясываться поясом. Но когда дня через два мы нагоняли обоз, в особенности, если было известно, что отец останется в Москве, мы находили несколько иную картину. Мужчины и женщины, в каких-то невероятных армяках, подпоясанных платками, шагали, подпираясь палками, вырезанными в лесу по дороге. Загорелые от солнца или же промоченные дождем, они походили скорее на кочующий цыганский табор, чем на дворовых богатого помещика. Так странствовали в то время дворовые всех барских домов. Когда мы видели толпу слуг, проходивших по одной из наших улиц, мы знали уже, что Апухтины или

Прянишниковы перебираются. Обоз выезжал, а семья наша все еще не трогалась. Нам всем страшно надоедало ожидание. Но отец все писал бурмистрам приказы, а я тщательно переписывал их в книгу „исходящих бумаг". Наконец отдавалось приказание тронуться в путь. Нас всех сзывали вниз. Отец прочитывал громко маршрут „княгине Кропоткиной, жене князя Алексея Петровича Кропоткина, полковника и кавалера". В бумаге подробно перечислялось, где следует остановиться в продолжение пятидневного путешествия. Нужно сказать, что приказ был на 30 мая, и отъезд назначался в шесть часов утра; между тем, май прошел, и выезжали мы в полдень, что расстраивало все вычисления. Но, как всегда в военных приказах о походе, это обстоятельство было предусмотрено и оговорено в следующем параграфе: „Если же, паче чаяния, отъезд вашего сиятельства не состоится в назначенный день и час, вы уполномочиваетесь поступать согласно собственному усмотрению, дабы привести оное путешествие к благополучному окончанию".

Затем вся семья и прислуга садились на минуту, крестились и прощались с отцом.—Умоляю тебя, Алексис, не ходи в клуб,—шептала мачеха. Большая карета, запряженная четверкой, с форейтором впереди, дожидалась у подъезда. Подножка лесенкой откидывалась. Места наши в карете были точно указаны в маршруте, но так как все не умещались, то мачехе тут же приходилось распорядиться „согласно собственному усмотрению". Наконец к всеобщему удовольствию мы трогались.

Дорога являлась неистощимым источником удовольствия для нас детей. Переезды были короткие, и мы останавливались дважды в день, чтобы покормить лошадей. Так как дамы кричали при малейшей неровности дороги, то на всех спусках и подъемах, т. е. почти беспрестанно, приходилось вылезать из экипажей. Мы пользовались этим, чтоб заглянуть в лес при дороге или побегать по берегам прозрачного ручья. К тому же, на прекрасном Московско-Варшавском шоссе, которым мы ехали некоторое время, мы встречали много занимательного: обозы, партии богомольцев

и много разного народа. Дважды в день мы останавливались в больших бойких селах и, поторговавшись всласть по поводу цен на сено, овес и самовар, въезжали в ворота постоялого двора. Повар Андрей покупал курицу и варил суп, а мы тем временем убегали в лес или же осматривали двор. Мы обыкновенно ночевали в Малоярославце, где в 1812 году русские тщетно старались остановить Наполеона во время его отступления из Москвы. Monsieur Poulain, который был ранен во время испанской кампании, конечно, знал или, во всяком случае, уверял, что знает все относительно боя при Малоярославце. Он водил нас на поле сражения и объяснял нам, как русские пытались задержать Наполеона и как великая армия опрокинула их и прорвалась сквозь наши линии. Он рассказывал все так подробно, как будто сам участвовал в битве. Здесь казаки пробовали обойти французов, но Даву или другой какой-нибудь маршал разбил их и преследовал вон до того холма, что направо. Вон там левое крыло наполеоновской армии опрокинуло русскую пехоту, а вот здесь сам Наполеон повел старую гвардию против центра кутузовской армии и покрыл и себя и гвардию неувядаемой славой.

Раз мы поехали по старой Калужской дороге и остановились в Тарутине. Тут monsieur Poulain был не так красноречив, потому что здесь, после кровавой битвы, Наполеон, рассчитывавший пойти на юг, вынужден был вновь следовать дорогой на Смоленск, через места, разоренные во время наступления на Москву. Но (так выходило по рассказам Пулэна) все это произошло единственно оттого, что Наполеон был обманут маршалами. Иначе он пошел бы на Киев и Одессу, и его орлы развевались бы на берегу Черного моря.

За Калугой дорога шла верст семь чудным сосновым бором, и этот бор соединен у меня с самыми счастливыми воспоминаниями детства. Песок в лесу был так глубок, как в Африканской пустыне. Все время мы шли пешком; лошади медленно волокли карету и останавливались поминутно. Тогда я уходил вперед от всех и шел все время один. По обеим сторонам дороги росли громадные, вековые, красные сосны. Ухо

улавливало лишь шелест высоких деревьев. В маленьком овраге журчал прозрачный ручей, где кто-то оставил для прохожих берестяный ковшик, прикрепленный к расщепленной палке. Где-то в вышине неслышно пробиралась белка. Внизу все было так же таинственно, как и в кронах деревьев... В этом лесу зародилась моя любовь к природе и смутное представление о бесконечной ее жизни.

За лесом, переправившись на пароме через Угру, мы сворачивали с большой дороги на проселочную. Зеленые колосья ржи заглядывали в окна кареты; лошади щипали на ходу траву на обочинах дороги, узкой, как траншея. Наконец показывались три одинокие ивы возле дороги, означавшие, что наша деревня близка, а потом, как въедешь на пригорок, сразу выплывала и стройная, светложелтая колокольня никольской церкви.

Никольское как нельзя лучше соответствовало тихой жизни тогдашних помещиков. Там не было великолепия, которое встречалось в более богатых поместьях. Но художественный вкус сказывался в планировке построек, сада и вообще во всем. Кроме главного, недавно выстроенного отцом дома, на большом дворе было еще несколько флигелей. Они давали большую независимость жившим в них и в то же время не разрушали тесных сношений, устанавливаемых семейной жизнью. Большой фруктовый „верхний сад“ тянулся до церкви; на южном скате, который вел к реке, был разбит сад для гулянья. Здесь цветочные клумбы чередовались с аллеями, обсаженными липами, сиренью и акациями. С балкона главного дома открывался великолепный вид на реку и на остатки земляной Серенской „крепости“, в которой русские когда-то упорно отсиживались от татар. Далее расстилалось громадное желтеющее море колосьев, окаймленное на горизонте лесами.

В ранние дни детства мы двое и monsieur Poulain занимали один из флигелей. После того, как методы преподавания нашего гувернера смягчились вследствие вмешательства Лены, — мы были с ним в самых лучших отношениях. Отца никогда не было летом; он все время проводил в смотрах. Мачеха не обращала

на нас много внимания, в особенности с тех пор, как у ней родилась дочь Полина. Таким образом, мы все время были с monsieur Пулэном, который наслаждался пребыванием в деревне и давал возможность наслаждаться и нам. Не было конца приятным впечатлениям: леса, прогулки вдоль реки, карабканье на холмы старой крепости, где Poulain объяснял нам, как русские защищали ее и как татары взяли ее, иногда—случайные встречи с волками. Бывали и маленькие приключения. Во время одного из них мосье Poulain стал героем в наших глазах: он вытащил из реки тонувшего Александра. Иногда отправлялись на прогулку большой партией, всей семьей, с горничными по грибы. Тогда чай пили в лесу, на пчельнике, где жил столетний пасечник с маленьким внуком. Или же мы отправлялись в одну из наших деревень, где был вырыт глубокий пруд, в котором лавливали тысячи золотистых карасей. Часть улова шла помещику, остальное распределялось между крестьянами. Моя кормилица жила в этой деревне. Ее семья была из беднейших. Кроме мужа, в семье были маленький мальчик, уже помощник, да девочка, моя молочная сестра, ставшая впоследствии проповедницей и „богородицей" в раскольничьей секте, к которой принадлежала. Кормилица бывала страшно рада, когда я приходил повидать ее. Угостить меня она могла лишь сливками, яйцами, яблоками и медом. Но глубокое впечатление производили на меня ее любовь и ласки. Она накрывала стол белоснежной скатертью (чистота—религиозный культ раскольников), подавала угощенье в сверкающих деревянных тарелках, ласково говорила со мной, как с родным сыном. Я должен сказать то же самое о кормилицах двух старших братьев моих — Николая и Александра. Они тоже принадлежали к семьям, принимавшим видное участье в двух раскольничьих толках в Никольском. Немногие знают, как много доброты таится в сердце русского крестьянина, несмотря на то, что века сурового гнета, повидимому, должны были бы озлобить его.

В ненастные дни у monsieur Poulain был большой запас историй для нас, в особенности про войну в Испании

Мы постоянно просили рассказать нам опять, как он был ранен в сражении, и каждый раз, как он доходил до того места, что почувствовал, как теплая кровь льется в сапог, мы бросались целовать его и давали ему всевозможные нежные имена.

Все, повидимому, подготовляло нас к военному поприщу: пристрастие отца (единственная игрушка, которую он, как припоминаю, купил нам — было ружье и настоящая будка), военные рассказы Пулэна, более того, даже библиотека, имевшаяся в нашем распоряжении. Эта библиотека принадлежала когда-то деду нашей матери, генералу Репнинскому, видному военному деятелю XVIII века, и состояла из сочинений, большею частью французских, по истории войн, тактике и стратегии, прекрасно переплетенных в кожу и украшенных многочисленными гравюрами. Нашим величайшим удовольствием в ненастные дни являлось просматривать эти картинки, изображавшие различное оружие со времени евреев и планы всех битв со времени Александра Македонского. Увесистые томы были также великолепным строительным материалом для сооружения сильных крепостей, которые некоторое время выдерживали удары тарана и метательные снаряды Архимедовой катапульты (она, впрочем, скоро была запрещена, так как камни неизбежно попадали в окна). Тем не менее ни я ни Александр не стали военными. Литература шестидесятых годов вытравила все, чему нас учили в детстве.

Monsieur Poulain держался того же мнения о революциях, как и орлеанский журнал „Illustration Française“, старые номера которого он получал и все рисунки которого были нам отлично знакомы. Долгое время революция представлялась мне не иначе, как смертью, скачущей на коне, с красным флагом в одной руке, с косой в другой, чтобы косить людей. Так было нарисовано в „Illustration“. Теперь я думаю, однако, что нелюбовь Пулэна ограничивалась лишь восстанием 1848 года, так как один из его рассказов о революции 1789 года произвел на меня глубокое впечатление.

Титул сиятельство употреблялся в нашем доме при всяком удобном и неудобном случае. По всей вероят-

ности, это производило на Пулэна неприятное впечатление, потому что раз он принялся рассказывать нам, что знал, о великой революции. Я не могу теперь вспомнить все, что он говорил, припоминаю лишь следующее. Пулэн рассказал, как „граф Мирабо“ и другие отказались от своих титулов и как Мирабо, чтобы выразить презрение к аристократическим претензиям, открыл мастерскую с вывеской „Портной Мирабо“ (передаю историю, как слышал ее от Пулэна). Долгое время после того я все думал, какое бы занятие я бы избрал, чтобы изобразить на вывеске: „Таких-то — дел мастер Кропоткин“. Впоследствии мой учитель Н. П. Смирнов и общий демократический дух русской литературы побудили меня к тому же, и когда я начал писать повести, что было на двенадцатом году,— я стал подписываться просто „П. Кропоткин“. То же делал я и впоследствии, когда был в военной службе, несмотря на замечания моих начальников.

VII.

Осенью 1852 года Александр поступил в кадетский корпус, и с тех пор мы видались лишь по праздникам да иногда по воскресеньям. До кадетского корпуса от нашего дома было верст семь, и хотя у нас держали десяток лошадей, но всегда как-то выходило, что, когда следовало послать сани в корпус за братом, все лошади были в разгоне: Николай приезжал домой очень редко. Относительная свобода, которую Александр нашел в военном училище, а в особенности влияние двух преподавателей литературы быстро содействовали его развитию. Дальше мне придется еще сказать о том благотворном влиянии, которое имел он на мое развитие. Мне выпало на долю большое счастье иметь любящего, развитого старшего брата.

Я тем временем оставался дома. Приходилось дожидаться, покуда придет мой черед поступить в пажеский корпус, а он пришел, когда мне было почти пятнадцать лет. Пулэн в это время получил отставку, и вместо него пригласили учителя немца, оказавшегося одним из тех идеалистов, которые нередко встречаются

среди немцев. В особенности, помню я, как он читал Шиллера: наивная его декламация приводила меня в восторг. Прожил он у нас всего лишь одну зиму. На следующую зиму меня отдали в московскую гимназию, и я был окончательно отдан на попечение Н. П. Смирнова. Мы вскоре стали друзьями, в особенности, когда отец взял нас обоих в рязанскую деревню. Во время дороги мы придумывали всевозможные шалости и изобретали всякие забавные истории, в которых действующими лицами были встречавшиеся нам люди. Впечатление, произведенное на меня дорогой, пересекавшей гористую местность в Алексинском уезде, когда мы из Рязани проехали в Тулу,—еще более усилило развивавшуюся во мне любовь к природе. Под влиянием Смирнова стал развиваться также мой литературный вкус, и в промежуток между 1854 и 1857 годами он вполне определился. Мой учитель к тому времени окончил университет и получил небольшое место в судебной палате, где проводил все утро, я же оставался один до обеда. После приготовления уроков и прогулки у меня оставалось еще много времени, чтоб читать, а в особенности, чтоб писать. Осенью же, когда учитель возвращался в Москву в свою Палату, а мы все еще жили в деревне,—я опять оставался один. Уроков никаких не было, и, поболтавши в семье и поигравши с маленькой сестрой Полинькой,—я мог вволю отдаваться чтению и письму.

Крепостное право доживало тогда последние годы. Все это было еще так недавно,—точно вчера,—а, между тем, немногие в России ясно сознают, чем было крепостное право. Большинство смутно сознает, что тогдашние условия были плохи; но как сказывались эти условия, физически и нравственно, на живых существах, едва ли многие понимают. Просто поразительно видеть, как быстро было забыто учреждение и общественные условия, порожденные им, едва только учреждение перестало существовать. Так быстро меняются обстоятельства и люди. Постараюсь поэтому рассказать, как жили при крепостном праве. Буду передавать не то, что слышал, а то, что сам видел.

Ключница Ульяна стоит в коридоре, ведущем в кабинет отца, и крестится. Она не смеет ни войти ни повернуть назад. Наконец, она прочитывает молитву, входит в кабинет и едва слышным голосом докладывает, что запас чая почти на исходе, что сахара осталось всего лишь фунтов двадцать и что остальная провизия также скоро вся выйдет.

— Воры! Грабители!—кричит отец.—А ты заодно с ними!

Голос его гремит на весь дом. Мачеха послала Ульяну, чтобы на ней разразилась гроза.

— Фрол! позови княгиню!—кричит отец.—Где она!— И когда мачеха входит, он встречает ее таким же образом.

— И ты заодно с хамовым отродьем! Ты заступаешься за них,—и так далее в продолжение целого получаса, а иногда и больше.

Затем отец принимается проверять счета. При этом он вспоминает о сене. Посылается Фрол перевесить, сколько осталось его; мачехе приказывается присутствовать при взвешивании, а отец вычисляет, сколько должно быть сена на сеновале. Выходит, повидимому, что исчезло много пудов, а Ульяна не может сказать, как израсходовано несколько фунтов такой-то провизии. Голос отца становится все более и более грозным. Ульяна трепещет. Теперь зовут к допросу кучера. На нем разражается гроза. Отец бросается на него и принимается бить. Кучер твердит одно:—Ваше сиятельство изволили ошибиться.

Отец снова принимается считать. На этот раз выходит, что на сеновале больше сена, чем следовало. Крики продолжаются. Теперь отец ругает кучера за то, что он задает лошадям меньше корма, чем надлежит; но кучер призывает в свидетели всех святых, что лошади получают корма, сколько нужно. Фрол призывает в свидетельницы богородицу, что кучер говорит правду.

Но отец не желает угомониться. Он призывает настройщика и под-дворецкого Макара и высчитывает ему все недавние проступки и прегрешения. Макар на прошлой неделе напился и, наверное, был пьян также вчера, потому что разбил несколько тарелок.

В сущности, разбитые тарелки и были первопричиной всей тревоги. Мачеха сообщила об этом отцу утром; в силу этого Ульяна была встречена большею бранью, чем обыкновенно в подобных случаях, в силу этого состоялась проверка сена. Отец продолжает кричать, что хамово отродье заслуживает всяческого наказания.

Внезапно наступает затишье. Отец садится за стол и пишет записку: „Пошлите Макара с этой запиской на съезжую. Там ему закатят сто розог".

В доме ужас и оцепенение.

Бьет четыре. Мы все спускаемся к обеду, но ни у кого нет охоты есть. Никто не дотрагивается до супа. Нас за столом десять человек. За каждым стоит скрипка или тромбон, с чистой тарелкой в левой руке, но Макара нет.

— Где Макар?—спрашивает мачеха:—позвать его.

Макар не является, и приказ отдается снова. Входит Макар, бледный, с искаженным лицом, пристыженный, с опущенными глазами. Отец глядит в тарелку. Мачеха, видя, что никто из нас не дотронулся до супа, пробует оживить нас.

— Не находите ли вы, дети,—говорит она по-французски:—что суп сегодня превосходный.

Слезы душат меня. После обеда я выбегаю, нагоняю Макара в темном коридоре и хочу поцеловать его руку; но он вырывает ее и говорит, не то с упреком, не то вопросительно:—Оставь, меня; небось, когда вырастешь, ты такой же будешь?

— Нет, нет, никогда!

А между тем отец мой был не из жестоких помещиков. Наоборот, даже слуги и мужики считали его хорошим барином. Но то, что я только что описал, происходило всюду, часто в гораздо более жестокой форме. Сечение крепостных входило в круг обязанностей полиции и пожарных.

Один помещик раз спросил другого:—Почему это в вашем имении число душ так медленно прибывает? Вы, по всей вероятности, мало следите за тем, чтобы люди женились?

Через несколько дней после этого генерал возвратился в свою деревню. Он велел принести себе список всех крестьян, отметил имена всех парней, достигших восемнадцати лет, и девушек, которым исполнилось шестнадцать, т. е. всех тех, которых уже по закону можно венчать. Затем генерал отдал приказ: „Ивану жениться на Анне, Павлу на Парашке, Федору на Прасковье“ и т. д. Так он наметил пять пар. „Пять свадьб,—гласил приказ,—должны состояться в воскресенье, через десять дней“.

Вой поднялся по всей деревне. В каждом доме вопили женщины, молодые и старые. Анна надеялась выйти за Григория, Павловы старики уже сговорились с Федотовыми насчет их дочери, которая скоро входила в возраст. На придачу, время было пахать, а не свадьбы играть. Да и как можно приготовиться к свадьбе в десять дней! Десятки крестьян приходили, чтобы повидать барина. Группы баб, с кусками тонкого полотна в руках, дожидались у черного входа барыни, чтобы заручиться ее заступничеством. Но все было напрасно: помещик заявил, что свадьбы должны быть через десять дней; так оно и быть должно.

В назначенный день свадебные процессии, скорее напоминавшие похороны, направились в церковь. Женщины вопили и причитывали, как по покойникам. Одного из лакеев командировали в церковь, чтобы доложить, когда обряд свершится. Скоро, однако, лакей прибежал, бледный и расстроенный, с шапкой в руках.

— Парашка упрямится,—доложил он:—она не хочет выходить за Павла. Когда батюшка спросил:—Согласна ты?—она громко крикнула:—Нет, не согласна!

Помещик рассвирепел.—Ступай и скажи ему, долгогривому, что если он не обвенчает Парашку, я донесу архиерею, что он пьяница. Как смеет он, мерзавец, не слушаться меня! Скажи, что я его сгною в монастыре. Парашкиных же родителей сошлю в степную деревню.

Лакей передал приказ. Парашку обступили поп и родители ее. Мать на коленях молила не губить всех. Девушка твердила все: „Не хочу“, но все более и более

слабым голосом; потом шопотом, наконец совсем замолчала. Ей возложили венец. Она не сопротивлялась. Лакей помчался в барский дом с докладом: „Повенчали!“

Полчаса спустя, у ворот помещичьего дома, забрякали бубенчики свадебного поезда. Пять пар слезли с телег, перешли двор и вошли в переднюю. Помещик принял их и велел поднести по рюмке водки. Родители, стоявшие позади плакавших дочерей, велели им кланяться в ноги барину.

Свадьбы по приказу составляли такое обычное явление, что среди наших дворовых молодые люди, не любившие друг друга, но предвидевшие, что их велят обвенчать,—обыкновенно кумились. По закону, венчание становилось невозможным. Хитрость, обыкновенно, удавалась; но раз закончилась трагедией. Портной Андрей полюбил девушку, принадлежавшую соседнему помещику. Андрей рассчитывал, что отец отпустит его на оброк и что, работая усердно, он сможет скопить денег на вольную для девушки. Иначе, выйдя замуж за крепостного, она тоже стала бы крепостной отца. А так как Андрей предвидел, что ему могут приказать обвенчаться с одной из наших горничных, он решил покумиться с ней. Случилось именно то, чего они опасались. Раз их позвали в кабинет к отцу и отдали приказ повенчаться.

— Мы всегда рады выполнить вашу волю,—ответили они:—да несколько недель тому назад мы вместе крестили.—Андрей также сообщил о своем намерении. Кончилось тем, что его сдали в солдаты.

При Николае I не было всеобщей воинской повинности, как теперь. Дворяне и купцы не были обязаны служить. Когда объявляли новый набор, помещики должны были доставить известное число рекрут. Обыкновенно в каждой деревне крестьяне сами вырабатывали черед; но дворовые зависели всецело от произвола помещика. Если барин был недоволен дворовым, он отправлял его в воинское присутствие и получал рекрутскую квитанцию, которая представляла значительную денежную стоимость, так как ее можно было продать тем, кому предстояло итти в солдаты.

Солдатская служба в то время была ужасна: она продолжалась двадцать пять лет. Стать солдатом значило навсегда оторваться от родной деревни и от родных и находиться в полной власти у такого командира, как, например, Тимофеев, о котором я уже говорил. Побои, розги, палки сыпались каждый день. Жестокость при этом превосходила все, что можно себе представить. Даже в кадетских корпусах, в которых воспитывались дети дворян, присуждалась иногда тысяча розог, в присутствии всего корпуса, за папиросу. Доктор стоял возле истязаемого мальчика и останавливал наказание только тогда, когда пульс почти переставал биться. Окровавленную жертву в обморочном состоянии уносили в госпиталь. Великий князь Михаил, начальник военных училищ, быстро удалил бы директора, у которого не было хоть одного или двух подобных случаев в течение года.—Дисциплины нет! — сказал бы он.

С простыми солдатами поступали, конечно, еще хуже. Если кто попадал под военный суд, приговор был почти всегда — прогнать сквозь строй. Тогда выстраивали в два ряда тысячу солдат, вооруженных палками, толщиной в мизинец (они сохранили свое немецкое название — шпицрутены). Осужденного проволакивали сквозь строй три, четыре, пять и семь раз, причем каждый солдат отпускал каждый раз по удару. Унтер-офицер следил за тем, чтобы солдаты били изо всех сил. После одной или двух тысяч палок харкающую кровью жертву уносили в госпиталь, где ее лечили только для того, чтобы наказание могло быть доведено до конца, как только солдат немного оправится. Если он умирал под палками, окончание приговора производилось над трупом: Николай и брат его Михаил были неумолимы. Никакое смягчение наказания не было даже возможно,

— Я тебя прогоню сквозь строй. Я тебе шкуру спущу под палками!—такова была обычная угроза в то время.

Мрачный ужас охватывал весь наш дом, когда становилось известно, что кого-нибудь из прислуги отправляют в военное присутствие. Его заковывали и сажали

в контору под стражу, чтоб помешать ему наложить на себя руки. Затем к дверям конторы подъезжала телега, и сдаваемого выводили в сопровождении двух караульных. Все дворовые окружали его. Он кланялся всем низко и просил каждого простить ему все вольные и невольные прегрешения. Если родители сдаваемого жили в деревне, они приходили также, чтобы проводить. Сдаваемый клал родителям земной поклон, причем мать и родственницы начинали причитывать, как по покойнику:—На кого же ты покинул нас? Кто порадеет о нас на чужой да на сторонушке? Кто же нас, сиротинушек, от людей злых да укроет?..

Таким образом, Андрею предстояло двадцать пять лет тянуть солдатскую лямку. Все его мечты о счастье разом разрушились.

Судьба одной из горничных, Пелагеи или Поли, как ее звали, была еще более трагична. В детстве ее сдали в магазин, где она в совершенстве изучила тонкое вышивание. В Никольском ее пяльцы стояли в комнате Лены. Она часто принимала участие в разговорах между сестрой и жившей в той же комнате сестрой мачехи. Как по разговору, так и по манерам Поля скорее была похожа на барышню, чем на горничную.

С ней случилось несчастье. Она убедилась, что должна скоро стать матерью. Она рассказала все мачехе, которая разразилась упреками:—Не хочу больше иметь в доме эту тварь! Не допущу подобного стыда в моем доме! О, бесстыдница, дрянь!—и т. д. На слезы Лены не обратили внимания. Поле отрезали косу и сослали на скотный двор. Но так как она как раз в то время вышивала удивительную юбку, то работу приказано было кончить на скотном, в грязной избе у микроскопического оконца. Поля закончила работу и сделала еще много других тонких вышивок в надежде получить прощение. Но оно не приходило. Отец ребенка, дворовый нашего соседа, молил о разрешении жениться. Но так как у него не было денег, то разрешения не дали. „Дворянские манеры“ Поли приняли, как отягчающие вину обстоятельства. Ей готовилась горькая доля. Среди наших дворовых был один, который,

за малый рост, ездил форейтором. Звали его Филька Косолапый. В детстве его жестоко зашибла лошадь, и он не рос больше. Ноги у него были колесом, ступни выворочены вовнутрь, нос сломан и согнут в сторону, а челюсть обезображена. За этого-то урода решили отдать Полю и отдали. Выдали ее силой. Новобрачных послали на крестьянскую работу в рязанскую деревню.

Человеческие чувства не признавались, даже не подозревались в крепостных. Когда Тургенев написал „Муму", а Григорович свои повести, в которых заставлял публику плакать над несчастьями крепостных,— для многих читателей то было настоящим откровением. —Возможно ли это? крепостные любят совсем, как мы!— восклицали сентиментальные дамы, которые, при чтении французских романов, горько оплакивали злосчастие героев и героинь.

Образование, которое давали иногда помещики своим крепостным, являлось для них лишь новым источником несчастий. Отец мой раз выбрал в крестьянской избе способного мальчика и отдал его в фельдшерскую школу. Мальчик был прилежный и через несколько лет сделал значительные успехи. Когда он возвратился домой, отец купил все необходимое для хорошей аптеки. Ее устроили очень удобно в одном из флигелей, в Никольском. Летом „Саша доктор", как звали в доме молодого человека, усердно собирал и сушил различные целебные травы. В короткое время он стал очень популярен в Никольском и во всей округе: больные крестьяне приходили из соседних деревень. Отец очень гордился успехом своей аптеки. Но это продолжалось недолго. Раз зимой отец приехал в Никольское, прожил здесь несколько дней, затем уехал. В ту же ночь Саша доктор застрелился,—нечаянно, как говорили. Но причиной была любовная история. Он любил девушку, на которой не мог жениться, так как она была крепостная другого помещика.

Судьба другого молодого человека, Герасима Круглова, которого отец отдал в московское земледельческое училище, была почти так же печальна. Он блестяще окончил—с золотой медалью. Директор училища употребил все усилия, чтобы убедить отца дать

Круглову вольную и открыть ему доступ в университет, куда крепостных не принимали.—Круглов, наверное, будет замечательным человеком,—говорил директор,—быть может, гордостью России. Вы сможете гордиться тем, что оценили его способности и дали такого человека русской науке.

— Он мне надобен в моей деревне,—отвечал отец на настойчивые ходатайства за молодого человека. В действительности, при первобытном способе ведения хозяйства, от которого отец ни за что не отступил бы, Герасим Круглов был совершенно бесполезен. Он снял план деревни, а затем ему приказали сидеть в лакейской и стоять с тарелкой в руках за обедом. Конечно, на Герасима это должно было сильно подействовать. Он мечтал об университете, об ученой деятельности. Его взгляд выражал страдание; мачеха же находила особое удовольствие в оскорблении Герасима при всяком удобном случае. Раз осенью порыв ветра открыл ворота. Мачеха крикнула:—Гараська, ступай запереть ворота!

То была последняя капля. Герасим ответил:—На то у вас дворник,—и пошел своей дорогой.

Мачеха вбежала с плачем в кабинет к отцу и принялась ему выговаривать:—Ваши люди оскорбляют меня в вашем доме!

Герасима немедленно заковали и посадили под караул, чтобы сдать в солдаты. Прощанье с ним стариков родителей—было одною из самых тяжелых сцен, которые я когда-либо видел.

На этот раз судьба, однако, отомстила. Николай I умер, и военная служба стала менее несносной. Замечательные способности Герасима были скоро замечены, и через несколько лет он стал одним из главных письмоводителей и, в сущности, душой одного из департаментов военного министерства. Случилось так, что мой отец, человек абсолютно честный, никогда не бравший взяток—и это в такое время, когда взятками все наживали состояния,—нарушил раз строгие правила службы и допустил неправильность, чтобы угодить своему корпусному командиру: записал в разряд неспособных одного из солдат, служившего у корпусного

за управляющего. Отцу это едва не стоило генеральского чина, который должны были дать ему. Главная, единственная цель его тридцатипятилетней службы была в опасности. Мачеха помчалась в Петербург, чтобы уладить историю. После долгих хлопот, ей сказали наконец, что единственно, что остается,—обратиться к одному из письмоводителей такого-то департамента. Хотя он лишь простой главный писарь,—сказали ей:—но, в действительности, руководит всем и может сделать, что захочет. Зовут его — Герасим Иванович Круглов.

— Представь себе, — рассказывала мачеха мне потом:—наш Гараська! Я всегда знала, что у него большие способности. Пошла я к нему и сказала ему о деле, а он мне в ответ:—Я ничего не имею против старого князя и сделаю все, что могу для него.

Герасим сдержал слово: он сделал благоприятный доклад, и отца произвели. Наконец-то он мог надеть так давно желанные красные штаны, шинель на красной подкладке и каску с плюмажем.

Таковы были дела, которые я сам видел в детстве. Картина получилась бы гораздо более мрачная, если бы я стал передавать, что слышал в те годы: рассказы про то, как мужчин и женщин отрывали от семьи, продавали, проигрывали в карты, либо выменивали на пару борзых собак, а потом переселяли на окраину России, чтобы образовать новое село; рассказы про то, как отнимали детей у родителей и продавали жестоким или же развратным помещикам; про то, как ежедневно, с неслыханной жестокостью пороли на конюшне; про девушку, утопившуюся, чтобы спастись от насилия; про старика, поседевшего на службе у барина и потом повесившегося у него под окнами; про крестьянские бунты, укрощаемые николаевскими генералами: запарыванием до смерти десятого или же пятого и опустошением деревни. После военной экзекуции, остававшиеся в живых крестьяне отправлялись побираться под окнами. Что же касается той бедности, которую во время поездок я видел в некоторых деревнях, в особенности в удельных, которые принадлежали членам императорской фамилии,—то нет слов для описания всего.

Заветной мечтой крепостных было получить вольную. Но мечту эту очень трудно было осуществить, так как за вольную приходилось уплатить помещику большую сумму денег.

— Знаешь ли,—сказал мне раз отец:—ваша мать являлась ко мне после смерти. Вы, молодежь, не верите в такие вещи, а между тем это правда. Дремлю я раз поздно ночью в кресле, у письменного стола. Вдруг вижу, она входит, вся в белом, бледная, с горящими глазами. Когда твоя мать умирала, она взяла с меня обещание, что я дам вольную горничной Маше. Потом то за тем, то за другим делом целый год я не мог исполнить обещания. Ну вот, твоя мать явилась и говорит мне глухим голосом: „Alexis, ты обещал мне дать вольную Маше; неужели забыл?" Я был поражен ужасом. Вскакиваю из кресел, а она исчезла. Зову людей, но никто из них ничего не видел. На другой день я отслужил панихиду на могиле и сейчас же отпустил Машу на волю.

Когда отец умер, Маша явилась на похороны, и я говорил с ней. Она была замужем и очень счастлива. Брат Александр шутливо передал Маше рассказ отца, и мы спросили, что она знает о привидении.

— Все это было уже очень давно, так что я могу вам сказать правду,—ответила Маша.—Вижу я, что князь совершенно забыл о своем обещании, тогда я оделась в белое, как ваша мамаша, и напомнила князю его обещание.—Вы, ведь, не будете сердиться за это на меня?

— Разумеется, нет!

Десять или двенадцать лет после того, как произошли события, описанные в начале главы, я раз ночью беседовал с отцом в его кабинете о прошлом. Крепостное право было отменено: отец жаловался, хотя не сильно, на новый порядок дел. Он принял его без особенного ропота.

— А ведь сознайтесь,— сказал я:— что вы часто жестоко наказывали слуг, иногда даже без всякого основания.

— С этим народом,— ответил он,— иначе нельзя было.

Затем отец откинулся на спинку кресла и задумался на некоторое время.

— Но что я делал,—начал он опять, после долгой паузы:—были пустяки; и говорить не стоит. А вот, хоть этот самый Саблев: уж на что кажется мягким и говорит таким сладким голоском; а между тем с крепостными чего он не делал! Сколько раз они покушались убить его! Я, по крайней мере, хоть никогда не трогал своих девок. А вот этот старый чорт Т. такой был, что крепостные собирались жестоко изувечить его... Ну, прощай. Bonne nuit!

VIII.

Я хорошо помню крымскую войну. В Москве, собственно, она производила не особенно глубокое впечатление. Правда, в каждом доме на вечерах щипали корпию; но мало ее доставалось русским войскам: большая часть раскрадывалась и продавалась неприятелю. Лена и другие молодые девицы пели патриотические песни, но обычный ход общественной жизни совершенно не был нарушен происходившей тогда великой борьбой. В деревне же, напротив, война вызвала крайне подавленное настроение. Рекрутские наборы следовали один за другим. Мы постоянно слышали причитанье крестьянок. Народ смотрел на войну, как на божью кару, и отнесся, поэтому, к ней с серьезностью, составлявшей резкий контраст с легкомыслием, которое я видел впоследствии в Западной Европе. Хотя я был еще очень молод, но и тогда понимал чувство торжественной покорности судьбе, которое господствовало в деревнях.

Брат Николай, как и другие, был захвачен военной горячкой и присоединился к кавказской армии, не окончив кадетского корпуса. Больше я никогда уже не видел его.

В 1854-м году семья наша увеличилась: приехали еще две сестры мачехи. У них был дом и виноградники в Севастополе, но теперь они остались без крова и стали жить с нами. Когда союзники высадились

в Крыму, жителям Севастополя объявляли, что им бояться нечего и что каждому остается лишь жить спокойно. Но после поражения при Альме всем велели выбраться возможно скорее, так как город будет занят через несколько дней. Лошадей не хватало; на придачу, дороги были запружены войсками, передвигавшимися на юг. Нанять повозку оказывалось почти невозможным. Сестры мачехи должны были оставить по дороге почти все имущество и вытерпели не мало, покуда приехали в Москву.

Я скоро подружился с младшей из сестер, тридцатилетней девицей, которая курила папиросы одну за другой, когда рассказывала мне о всех ужасах дороги. Со слезами на глазах говорила она про прекрасные военные корабли, которые пришлось потопить у входа в севастопольскую бухту, и не раз повторяла, что не понимает, как это будут защищать Севастополь с суши, так как город не имеет собственно никаких укреплений.

Мне шел тринадцатый год, когда умер Николай I. Поздно вечером 18-го февраля городовые разносили по домам бюллетени, в которых возвещалось о болезни царя, и население приглашалось в церкви молиться за выздоровление Николая. Между тем, царь уже умер и власти знали про это, так как Петербург и Москва были соединены телеграфом. Но так как до последнего момента ни слова не было произнесено о болезни царя, то начальство сочло необходимым постепенно подготовить народ. Мы все ходили в церковь и молились очень усердно.

На другой день, в субботу, повторилось то же самое. Даже в воскресенье утром вышли бюллетени о состоянии здоровья царя. Лишь в полдень, от слуг, возвратившихся с рынка, мы узнали про смерть императора. Когда известие распространилось, ужас охватил как наш, так и соседние дома. Передавалось, что народ на базаре держит себя крайне подозрительно и не только не выражает сожаления, но, напротив, высказывает опасные мнения. Взрослые разговаривали не иначе, как шопотом, а мачеха твердила постоянно:— — ах, не говорите при людях!—Слуги в свою очередь

шептались про „волю", которую дадут скоро. Помещики ждали ежеминутно бунта крепостных, новую пугачевщину.

В это время на улицах в Петербурге интеллигентные люди обнимались, сообщая друг другу приятную новость. Все предчувствовали, что наступает конец как войне, так и ужасным условиям. Говорили о том, что Николай отравился, указывалось в подтверждение на быстрое разложение тела. Истина, однако, раскрылась постепенно. Смерть обусловливалась слишком большой дозой возбуждающего лекарства, принятого Николаем.

В провинции, летом 1855 года, с сосредоточенным интересом следили за героической борьбой под Севастополем за каждый аршин разрушенных укреплений. Из нашего дома дважды в неделю отправлялся нарочный в уездный город за газетами, и, когда он возвращался, у него брали и распечатывали газеты, прежде даже, чем он успевал слезть с коня. Читали вслух всем или Лена, или я. Новости немедленно передавались в людскую, оттуда в кухню, в контору, священнику, а потом крестьянам.

Со слезами узнали все про последние дни Севастополя, про страшную бомбардировку и про оставление города нашими войсками. Всюду в помещичьих домах потеря Севастополя оплакивалась, как смерть близкого родственника, хотя все понимали, что теперь ужасной войне скоро придет конец.

IX.

В августе 1857 года пришла моя очередь поступить в пажеский корпус, и меня повезли в Петербург. Мне тогда было почти пятнадцать лет. Уехал я из дому мальчиком; но человеческий характер устанавливается определенно раньше, чем обыкновенно предполагают, и я не сомневаюсь в том, что, несмотря на отроческий возраст, я в значительной степени и тогда был уже тем, чем стал впоследствии. Мои вкусы и наклонности уже определились.

Первый толчок в развитии дал мне, как я сказал, учитель русского языка. Я считаю прекрасным тогдашний обычай — к сожалению, выводящийся уже теперь—иметь в доме студента, чтобы помогать при приготовлении уроков мальчикам и девочкам, даже когда дети поступят в гимназию. Помощь такого учителя неоценима как для того, чтобы лучше усваивать преподавание в школе, так и вообще для того, чтобы расширять круг знаний. Более того, таким образом вносится в семью культурный элемент. Студент становится старшим братом молодежи, зачастую даже лучше старшего брата, так как на студенте лежит известная ответственность за успехи его учеников. А так как методы преподавания меняются с каждым поколением, то студент лучше может помочь детям, чем наиболее интеллигентные родители.

Николай Павлович Смирнов имел развитой литературный вкус. В дикую эпоху николаевщины многие совершенно невинные произведения наших лучших писателей не могли быть напечатаны. Другие вещи были так изуродованы цензурой, что теряли всякий смысл. Например, в гениальной комедии Грибоедова полковника Скалозуба пришлось назвать „господином Скалозубом", отчего пострадали и смысл и некоторые стихи. Представить полковника в смешном виде считалось бы оскорблением армии. Вторую часть такой безобидной книги, как „Мертвые души", не разрешили вовсе, а первую часть воспретили выпустить вторым изданием, когда первое разошлось.

Многие стихотворения Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, Рылеева и других поэтов не были пропущены цензурой. Я уже не говорю про стихотворения, заключавшие какую-нибудь политическую мысль или критиковавшие существующий порядок. Но все эти стихотворения ходили в рукописи. Смирнов переписывал их, и даже большие произведения Гоголя и Лермонтова для себя или для приятелей, и в этой работе я иногда помогал ему. Как настоящий москвич он питал глубочайшее уважение к писателям, жившим в Москве (некоторые из них даже в Старой Конюшенной). С уважением показывал он мне дом графини

Салиас (Евгении Тур), нашей ближайшей соседки. Что же касается дома Герцена, то Николай Павлович мне указывал его не только с уважением, но даже с благоговением. Дом, в котором жил Гоголь, являлся для нас обоих предметом особого обожания. Хотя мне было всего лишь девять лет, когда умер Гоголь (1852), и я тогда еще не читал ни одного его произведения, но я хорошо помню, как опечалила Москву эта смерть. Тургенев хорошо выразил это общее горе в заметке, за которую Николай посадил его под арест, а затем сослал его в деревню.

„Евгений Онегин“ произвел на меня лишь слабое впечатление. И до сих пор я больше восхищаюсь удивительной простотой и красотой формы романа, чем его содержанием. Зато Гоголь, которого я читал, когда мне было одиннадцать или двенадцать лет, произвел на меня громадное впечатление. Мои первые литературные опыты я, в подражание Гоголю, писал в юмористическом жанре. „Юрий Милославский“ Загоскина, „Капитанская Дочка“ и „Королева Марго“ Дюма надолго заинтересовали меня историей. Что касается других французских романов, то я стал читать их лишь тогда, когда выступили Золя и Додэ. С раннего детства Некрасов был мой любимый поэт. Многие его стихотворения я знал наизусть.

Николай Павлович рано приохотил меня писать. При его помощи я написал длинную „Историю гривенника“. Мы придумывали вместе различные характеры людей, в руки которых попадал гривенник. Саша в то время больше проявлял поэтические наклонности. Он писал романтические истории и рано стал сочинять очень звучные стихи, которые давались ему крайне легко. Он наверное стал бы видным поэтом, если бы всецело не увлекся впоследствии естественными науками и философией. Слегка покатая крыша под нашим окном в то время была любимым местом, где он искал поэтического вдохновения; а я, конечно, не мог удержаться, чтобы не дразнить его:—Вот у трубы поэт сидит и стихи строчит.—Поддразнивание кончалось жестокой потасовкой, которая приводила Лену в отчаянье. Но Саша был незлопамятен. Мир вскоре

бывал восстановлен, и мы страстно любили друг друга. У мальчиков любовь и потасовка часто идут рука в руку.

Я даже тогда пробовал стать журналистом. На двенадцатом году начал издавать ежедневную газету. Бумага у нас была в обрез, и, в силу этого, моя газета была лишь в тридцать вторую долю листа. А так как Крымская война еще не начиналась, и отец получал только Московские полицейские ведомости, то у меня не было большого выбора для подражания. Таким образом, моя газета состояла из коротеньких рубрик, излагавших новости дня в роде следующего: „Пошли в лес. Н. П. Смирнов настрелял дроздов" и т. д.

Вскоре, однако, это перестало удовлетворять меня, и в 1855 году я стал издавать ежемесячный журнал, в котором помещались стихи Александра, мои повести и еще разные разности. Материально журнал был совершенно обеспечен, так как имел массу подписчиков: во-первых, самого редактора-издателя и, во-вторых, Смирнова, который, даже когда оставил наш дом, аккуратно вносил свою плату за подписку, именно, определенное количество листов бумаги. За это я чистенько переписывал для постоянного подписчика второй экземпляр.

Когда Смирнов оставил нас, его заменил медицинский студент Н. М. Павлов, который помогал мне в издании. Он достал для журнала поэму одного приятеля и, что еще более важно, вступительную лекцию московского профессора по физической географии. Конечно, лекция нигде еще не появлялась: наш журнал ни за что не унизился бы до перепечатки.

Едва ли нужно сказать, что Саша живо был заинтересован журналом, и слава его вскоре распространилась в стенах кадетского корпуса. Несколько многообещающих молодых писателей задумали издавать сопернический журнал. Дело принимало серьезный оборот. Что касается стихотворений и повестей, то преимущество было за нами. но у конкурента был „критик". А „критик", затрагивающий, по поводу новых беллетристических произведений, всевозможные вопросы, которые не могут быть обсуждаемы иначе,

является, как известно, душой русского журнала. У конкурента был критик, а у нас нет! Он даже написал статью для первого нумера и показал ее брату. Статья, впрочем, была претенциозна и слаба, и Александр немедленно написал антикритику, в которой сокрушил и осмеял автора. Тогда лагерь соперников впал в уныние, узнавши, что антикритика появится в нашем ближайшем нумере. Соперники отказались от мысли издавать журнал, и лучшие писатели их лагеря перешли к нам. Мы с триумфом возвестили, что заручились сотрудничеством стольких знаменитых писателей.

Журнал прекратился в августе 1857 года, просуществовав два года. Я ехал в Петербург, где меня ждала новая среда и новая жизнь. С сожалением оставлял я дом, тем более, что теперь расстояние между Москвой и Петербургом должно было отделять меня от Александра. Притом я считал уже несчастьем поступление в военное училище.

Поездка за границу.

I.

В последние годы здоровье нашего отца все ухудшалось. Когда мы приехали, с братом Александром, повидать его весной 1871 года, доктора сказали нам, что он доживет только до первых морозов. Он жил по-прежнему в Старой Конюшенной; но в этом аристократическом квартале произошли за последнее время большие перемены. Богатые помещики, игравшие здесь когда-то такую видную роль, исчезли. Они прокутили выкупные свидетельства, заложили и перезаложили свои имения в только что учрежденных земельных банках, воспользовавшихся их беспомощностью, а затем удалились в свои имения или в провинциальные города, где и были забыты всеми. Их дома в Старой Конюшенной достались богатым купцам, железнодорожникам и тому подобным „выскочкам", тогда как в каждой почти из старых дворянских семей новая жизнь боролась за свои права среди развалин старой. Единственными знакомыми отца оставались два-три старых отставных генерала, проклинавших новшества и облегчавших душу, предсказывая России неминуемую гибель, да еще, может быть, кто-нибудь из родни, случайно заглядывавший к нему, проездом через Москву. Изо всех наших многочисленных родственников, которых было когда-то в Москве не меньше двадцати семейств,—теперь в столице жило всего две семьи; тоже увлеченные потоком новой жизни, матери в этих семьях обсуждали с дочерьми и сыновьями вопросы о народных школах, или толковали о женских

курсах... Отец, конечно, глядел на них с презрением. Мачеха и младшая сестра Полина, нисколько не изменившиеся, по мере сил ухаживали за ним; но и они тоже чувствовали себя неловко в изменившейся среде.

Отец всегда был суров и в высшей степени несправедлив к Александру; но Александр отличался замечательной незлобивостью. Когда, со своей доброй улыбкой на губах и в кротких голубых глазах, он вошел в комнату, где лежал отец, и тотчас же нашел, что следует сделать, чтобы больному было удобнее,—причем все это выходило так просто и естественно, точно Александр все время просидел в комнате больного,—отец был совершенно поражен. Он глядел на Александра, повидимому, ничего не понимая. Наше посещение внесло несколько жизни в мрачный, печальный дом. Уход за больным стал несколько живее. Мачеха, Поля, даже прислуга—оживились, и отец сразу почувствовал перемену.

Одно, впрочем, смущало его. Он ожидал, что мы явимся, как блудные сыновья, с мольбой о прощении и помощи. Но когда он обиняками завел разговор о деньгах, мы весело ответили ему:—Не беспокойтесь, папаша, мы отлично устроились.—Это еще больше сбило его. Он совсем подготовился к сцене, как бывало в его время: сыновья просят прощения и—денег... Быть может, одну минуту он испытал даже разочарованье, что ее не было; но зато потом он стал относиться к нам с большим уважением. Расставаясь, мы все трое были очень растроганы. Отца почти страшило возвращение к мрачному одиночеству среди развалин строя, который он поддерживал всю жизнь. Но Александра ждала служба, а мне необходимо было ехать в Финляндию.

Осенью, когда меня вызвали по телеграфу из Финляндии, я поспешил в Москву, но приехал уже к отпеванию—в той самой красной церкви, в которой крестили отца и отпевали бабушку. И, следуя за катафалком, по знакомым мне с детства улицам, я думал о совершившихся переменах. Дома, мимо которых шла процессия, мало изменились; но я знал, что в каждом из них началась новая жизнь.

Вот дом, прежде принадлежавший матери моего отца, затем—княгине Мирской, а потом старожилу Старой Конюшенной—генералу N. Единственная его дочь упорно боролась два года с добродушными, боготворившими ее, но упрямыми родителями из-за разрешения посещать высшие курсы. Наконец девушка победила; но ее отправили на курсы в элегантной карете, под надзором маменьки, которая мужественно высиживала часы на скамейках аудитории, вместе с слушательницами, рядом с любимой дочкой. И, несмотря на бдительный надзор, дочь через год или два присоединилась к революционному движению, была арестована и просидела целый год в Петропавловской крепости.

Вот, напротив, дом графов Z. Две дочери их, которым опротивела бесполезная, бесцельная, праздная жизнь, долго боролись с родителями-самодурами из-за разрешения присоединиться к другим девушкам, посещавшим курсы и чувствовавшим себя там столь счастливыми. Борьба продолжалась несколько лет. Родители не уступали. В результате старшая сестра отравилась; тогда только младшей разрешили поступать, как ей угодно.

А вот и дом, где мы прожили когда-то год. Здесь состоялось вскоре первое заседание революционного кружка, который мы с Чайковским основали в Москве. Я тотчас узнал комнаты, памятные мне с детства, при совершенно другой обстановке. Дом принадлежал теперь родным Наталии Армфельд, трогательный портрет которой дал Кеннан, видевший ее в вольной команде на Каре.

А вот еще, в нескольких шагах от дома, в котором скончался отец, небольшой серенький дом, где, через несколько месяцев после смерти отца, я встречал Степняка, переодетого мужиком. Он только что был арестован в деревне за социалистическую пропаганду среди крестьян, но успел бежать и приехал в Москву.

Такие-то перемены произошли в барском квартале Старой Конюшенной за последние пятнадцать лет. Крепость старого дворянства и та не выдержала напора молодых сил.

II.

Ранней весной следующего года я в первый раз побывал за границей. Переезжая рубеж, я испытал, даже сильнее, чем я ожидал этого, то, что чувствуют все русскпе, выезжающие из России. Пока поезд мчится по мало населенным северо-западным губерниям, испытываешь чувство, как будто пересекаешь пустыню. На сотни верст тянутся заросли, к которым едва применимо название леса. Там и сям виднеется жалкая деревушка, полузанесенная снегом. Но со въездом в Пруссию все меняется сразу—и пейзаж и люди. Из окон вагона видны чистенькпе деревни и фермы, садики, мощеные дороги; и чем дальше проникаешь в Германию, тем контраст становится разительнее. После русских городов даже скучный Берлин кажется оживленным.

В то время в Цюрихе училось множество русских студентов и студенток. Знаменитая Оберштрассе была настоящий русский городок; русская речь здесь преобладала. Студенты, а в особенности студентки, жили так, как вообще живут русские учащиеся, то есть на самые ничтожные средства. Чай, хлеб, немного молока, маленький ломтик мяса, зажаренный на спиртовой лампочке, под оживленные разговоры про последние события в социалистическом мире или по поводу прочитанной книги,—этим вполне довольствовалась молодежь. Те, которые имели больше денег, чем требовалось для подобной жизни, отдавали их на общее дело: на библиотеку, на русский революционный журнал, на швейцарские рабочие газеты. Относительно нарядов публика была до крайности неприхотлива:

> Но девушке в семнадцать лет
> Какая шапка не пристанет?

и в старом городе Цвингли русские студентки как бы ставили населению вопрос: может ли быть такой простой наряд, который не пристал бы девушке, когда она молода, умна и полна энергии?

И вместе с тем русские женщины работали упорно и настойчиво; так никогда еще не работали с тех пор, как существуют университеты. Профессора не переставали ставить женщин в пример студентам.

Уже много лет мне страстно хотелось изучить все, касающееся Интернационала. Русские газеты часто упоминали о нем, но им не разрешалось писать ни о целях ни о деятельности Международного союза работников. Я догадывался, что это должно быть великое движение, имеющее богатое будущее; но я не мог хорошо уловить его цели. Теперь, в Швейцарии я решился найти ответ на все мои вопросы.

По приезде в Цюрих, я вступил в одну из местных секций Интернационала и спросил своих русских приятелей, по каким источникам можно познакомиться с великим движением, начавшимся в других странах. —Читайте,—сказали мне, и одна моя родственница, учившаяся тогда в Цюрихе, принесла мне целую кипу книг, брошюр и газет за последние два года. Я читал целые дни и ночи напролет, и вынесенное мною впечатление было так глубоко, что никогда ничем не изгладится. Поток новых мыслей, зародившихся во мне, связывается в моей памяти с маленькой, чистенькой комнаткой на Оберштрассе, из окна которой видно было голубое озеро, высокие шпили старого города,— свидетеля стольких ожесточенных религиозных споров, и го́ры на другом берегу, где швейцарцы боролись за свою независимость.

Социалистическая литература никогда не была богата книгами. Она писана для рабочих, у которых и несколько копеек уже деньги, да и времени мало на чтение, после долгого рабочего дня. Поэтому она состоит преимущественно из брошюр и газет. К тому же, желающий ознакомиться с социализмом, мало найдет в книгах того, что больше всего ему нужно узнать. В книгах изложены теории и научная аргументация социализма; но они не дают понятия о том, как работники принимают социалистические идеалы и как последние могут быть осуществлены на практике. Остается взять кипы газет и читать их от доски до доски; хро-

нику, передовые статьи и все остальное; первая даже важнее передовых.

Зато совершенно новый мир социальных отношений и совершенно новые методы мышления и действия раскрываются во время этого чтения, которое дает именно то, чего ни в каком другом месте не узнаешь: а именно, объясняет глубину и нравственную силу движения и показывает, насколько люди проникнуты новыми теориями, насколько работники подготовлены провести идеи социализма в жизнь и пострадать за них. Всего этого другим чтением нельзя узнать; а потому все толки теоретиков о неприменимости социализма и о необходимости медленного развития имеют мало значения, потому что о быстроте эволюции можно судить лишь на основании близкого знакомства с людьми, об эволюции которых мы говорим. Можно-ли узнать сумму, если нам неизвестны ее слагаемые?

Чем больше я читал, тем сильнее я убеждался, что предо мною — новый для меня мир, совершенно неизвестный ученым авторам социологических теорий. Мир этот я мог изучить, только проживши среди рабочего Интернационала и присматриваясь к его повседневной жизни. Поэтому я решил посвятить такому изучению несколько месяцев. Мои русские знакомые одобрили мой план, и, после нескольких дней, проведенных в Цюрихе, я отправился в Женеву, которая была крупным центром Интернационала.

III.

Я возвратился из этой поездки с определенными социалистическими взглядами, которых и держался с тех пор, посильно стараясь развивать их и облечь в более определенную и конкретную форму.

Был однако один пункт, который я принял только после долгих дум и бессонных ночей. Я ясно видел, что великие перемены, долженствующие передать все необходимое для жизни и производства в руки общества, — все равно будет ли то народное государство социал-демократов или же союз свободных групп, как

хотят анархисты,—не могут совершиться без великой революции, какой еще не знает история. Больше того. Уже во время французской революции крестьяне и республиканцы должны были напрячь все усилия, чтобы опрокинуть прогнивший аристократический строй. Между тем, в великой социальной революции народу придется бороться с противником, гораздо более сильным умственно и физически: с средними классами, которые имеют притом в своем полном распоряжении могущественный механизм современного государства. Но я скоро заметил, что никакой революции, ни мирной ни кровавой, не может свершиться без того, чтобы новые идеалы глубоко не проникли в тот самый класс, которого экономические и политические привилегии предстоит разрушить. Я видел освобождение крестьян и понимал, что, если бы сознание несправедливости крепостного права не было широко распространено среди самих помещиков (под влиянием эволюции, созданной революциями 1793 и 1848 годов), эманципация никогда не свершилась бы так быстро, как в 1861 году. И я также видел, что идея освобождения работников от капиталистического ига начинает распространяться среди самой буржуазии. Наиболее горячие сторонники современного экономического строя отказываются уже от защиты своих привилегий на почве п р а в а, а довольствуются обсуждением с в о е в р е м е н н о с т и преобразования. Они не отрицают желательности некоторых перемен, но только спрашивают, действительно ли будет новый экономический строй, предлагаемый социалистами, лучше нынешнего? Сможет ли общество, в котором работники будут иметь преобладающее влияние,—лучше руководить производством, чем отдельные капиталисты, побуждаемые личной выгодой, как в настоящее время?

Кроме того, я постепенно начал понимать, что революции,—то есть периоды ускоренной эволюции и быстрых перемен—так же сообразны природе человеческого общества, как и медленная эволюция, наблюдаемая теперь в культурных странах. И каждый раз, когда темп такой эволюции ускоряется, и начинается эпоха широких преобразований,—может вспыхнуть

гражданская война в более или менее широких размерах. Таким образом, вопрос не в том, как избежать революции, а в том, как достичь наибольших результатов, при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и, по возможности, не увеличивая взаимной ненависти. Все это возможно лишь при одном условии: угнетенные должны составить себе возможно более ясное представление о том, что им предстоит совершить, и проникнуться достаточно сильным энтузиазмом. В таком случае они могут быть уверены, что к ним присоединятся лучшие и наиболее свежие элементы из самих правящих классов.

Парижская коммуна—страшный пример социального взрыва без достаточно определенных идеалов. Когда в марте 1871 года работники стали хозяевами Парижа, они не только не тронули прав собственности буржуазии, но даже охраняли их. Вожди коммуны грудью покрывали национальный банк. Несмотря на кризис, парализовавший промышленность и последовавшую от того безработицу, Коммуна своими декретами охраняла права владельцев фабрик, торговых учреждений и жилых помещений города Парижа. Между тем, несмотря на это, когда движение было подавлено, буржуазия не зачла бунтовщикам скромности их требований. Прожив два месяца в постоянном страхе, что коммунары посягнут на их права собственности,— версальцы, когда они взяли Париж, стали мстить, как будто это покушение уже было свершено. Около тридцати тысяч рабочих, как известно, было перебито— не в сражении, а после того, как сражение было кончено. Вряд ли месть могла быть ужасней, если бы Коммуна приняла самые решительные меры к социализации собственности.

Если в развитии человеческого общества — рассуждал я—существуют периоды, когда борьба неизбежна и когда гражданская война возникает помимо желания отдельных личностей, то необходимо, по крайней мере, чтобы она велась во имя точных и определенных требований, а не смутных желаний. Необходимо, чтобы борьба шла не за второстепенные вопросы, незначительность которых не уменьшит взаимного озлобления,

но во имя широких идеалов, способных воодушевить людей величием открывающегося горизонта.

В последнем случае исход борьбы будет зависеть не столько от ружей и пушек, сколько от творческой силы, примененной к переустройству общества на новых началах. Исход будет зависеть в особенности от созидательных общественных сил, которым на время откроется широкий простор, и от нравственного влияния преследуемых целей; ибо, в таком случае, преобразователи найдут сочувствующих даже в тех классах, которые были против революции. Борьба, происходя на почве широких идеалов, очистит социальную атмосферу. В таком случае число жертв, как с той, так и с другой стороны, будет гораздо меньше, чем если бы борьба велась за второстепенные вопросы, открывающие широкий простор всяким низменным стремлениям.

Проникнутый такими идеями, я возвратился в Россию.

IV.

Во время поездки я накупил много книг и собрал коллекцию социалистических газет. В России, конечно, все они были безусловно запрещены цензурой. Некоторые газеты и отчеты международных конгрессов ни за какие деньги нельзя было бы приобрести даже в Бельгии. „Неужели так и бросить литературу,—думал я:—которой в Петербурге так были бы рады брат Александр и мои друзья?“ И я решил во что бы то ни стало перевезти книги в Россию.

Возвращался я в Петербург через Вену и Варшаву. Тысячи евреев живут на северо-западной границе контрабандой, и я не без основания думал, что, если найду хоть одного из них, мои книги будут переправлены благополучно через границу. Но сойти на маленькой станции близ границы и там разыскивать контрабандиста было бы не совсем благоразумно. Таким образом я свернул с дороги в Краков. „Столица старой Польши близка к границе,—думал я. — Там, вероятно, я раздобуду еврея, который меня сведет с необходимыми мне людьми“.

Я прибыл в знаменитую некогда столицу вечером, а на другой день рано утром отправился из гостиницы на поиски. Велико, однако, было мое смущение, когда на каждом углу и всюду на пустынной базарной площади я встречал еврея, с пейсами, в традиционном долгополом кафтане, выглядывавшего какого-нибудь пана или купца, которые послали бы его с поручением и дали бы заработать несколько грошей. Мне нужен был один еврей, а тут их оказалась целая куча. К кому же обратиться? Я обошел весь город и, наконец, в отчаянии, решил обратиться к еврею, стоявшему у дверей моей гостиницы,—громадного, старинного палаца, в залах которого когда-то танцовали толпы изящных дам и галантных кавалеров. Теперь старинный дворец исполнял более прозаическое назначение, давая убежище редким и случайным проезжающим. Я объяснил фактору, что желаю переправить в Россию довольно тяжелую пачку книг и газет.

— То пану зараз будет сделано. Я приведу комиссионера от Главной компании международного обмена тряпок и костей (скажем так). Она ведет самую широкую контрабанду во всем мире. Комиссионер послужит господину.

Через полчаса фактор действительно возвратился с „комиссионером“, изящным молодым человеком, отлично говорившим по-русски, польски и немецки.

„Комиссионер“ осмотрел мой узел, взвесил его на руках и спросил, какого рода это книги?

— Все они строжайше запрещены в России. Потому-то их и нужно переправить контрабандой.

— Собственно говоря, книгами мы не занимаемся,— ответил он. — Наше дело — шелковый товар. Если я стал бы платить моим людям по весу, как за шелк, то должен был бы запросить с вас совсем не подходящую цену. На придачу, скажу вам правду, я не люблю путаться с книгами. Случись, не дай бог, несчастье, — так „они“ сделают политический процесс. „Международная компания тряпок и костей“ должна будет тогда заплатить громадные деньги, чтобы выпутаться из истории.

Должно быть, вид у меня был очень опечаленный, потому что элегантный „комиссионер“ сейчас же

прибавил:—Не огорчайтесь. Он (то есть фактор) устроит это дело для вас другим путем.

— То чистая правда!—весело заметил фактор, когда комиссионер ушел.—Найдем сто дорог, чтобы угодить пану.

Через час он возвратился с другим молодым человеком, который взял узел, сложил его возле дверей и сказал:—Добре! если пан выедет завтра, он найдет свои книги на такой-то станции в России.—Он объяснил мне подробно все.

— А сколько это будет стоить?—спросил я.

— А сколько пан хочет дать?—ответил он.

Я высыпал на стол все, что у меня было в кошельке и сказал: —Вот столько-то мне на дорогу. Остальное вам. Я поеду в третьем классе.

— Ай, ай, ай!—закрутили разом головами и фактор и молодой человек.—Разве то можно, чтобы такой пан ехал третьим классом? Никогда! Нет, нет, нет!.. Для нас—десять рублей; потом фактору два рубля, если вы довольны им. Мы не грабители какие-нибудь, а честные—купцы!—Они наотрез отказались взять больше денег.

Мне часто приходилось слышать с тех пор о честности еврейских контрабандистов на северо-западной границе. Впоследствии, когда наш кружок ввозил много книг из-за границы, затем еще позже, когда так много революционеров переправлялось в Россию и из России,—не было ни одного случая, чтобы контрабандист выдал кого-нибудь, или чтобы он воспользовался исключительностью положения для вымогательства чрезмерной платы.

На другой день я выехал из Кракова. На условленной станции в России к моему вагону подошел носильщик и сказал так громко, чтобы его мог слышать стоявший на платформе жандарм:—Вот чемодан, который ваше сиятельство оставили вчера.—Он вручил мне мой ценный пакет.

Я так был ему рад, что даже не остановился в Варшаве, а прямо отправился в Петербург, чтобы показать мои трофеи брату.

V.

Я поспешил, конечно, поделиться с друзьями моими книгами и впечатлениями, вынесенными из знакомства с Интернационалом. Собственно говоря, в университете у меня не было друзей; я был старше большинства моих товарищей, а среди молодых людей разница в несколько лет всегда является помехой тесному сближению. Нужно также прибавить, что с тех пор, как был введен устав 1861 года, лучшие молодые люди, то есть наиболее развитые и независимые, отсеивались в гимназиях и не допускались в университет. Поэтому большинство моих товарищей были хорошие юноши, трудолюбивые, но они не интересовались ничем, кроме экзаменов. Я подружился только с одним, Дмитрием К. Он был родом из Южной России и, хотя носил немецкую фамилию, вряд ли говорил по-немецки, а в типичном его лице не было ничего тевтонского. Он был очень развитой, начитанный человек и много думал. К. очень любил науку и глубоко уважал ее: но, подобно большинству из нас, скоро пришел к заключению, что стать ученым — значит перейти в стан филистеров, тогда как впереди такое множество другой, не терпящей отлагательства работы. Он посещал университет около двух лет, затем бросил его и весь отдался социальной деятельности. Жил он бог весть как. Сомневаюсь даже, была ли у него постоянная квартира. Иногда он приходил ко мне и спрашивал:— есть у вас бумага?—Забрав запас ее, он примащивался где-нибудь у края стола и прилежно переводил часа два. То немногое, что он зарабатывал подобным образом, с избытком покрывало его скромные потребности, и, кончив работу, К. плелся на другой конец города, чтобы повидаться с товарищами или чтобы помочь нуждающемуся приятелю. Он готов был исколесить весь Петербург пешком, чтобы выхлопотать прием в гимназию какого-нибудь мальчика, в котором товарищи принимали участие. Он несомненно был очень талантлив. В Западной Европе гораздо менее

одаренный человек, чем он, наверное, стал бы видным политическим или социалистическим вождем. Но мысль о главенстве никогда даже не приходила в голову К. Честолюбие было ему совершенно чуждо; зато я не знаю такой общественной работы, которую Дмитрий считал бы слишком мелкой. Впрочем, эта черта была свойственна не только ему одному. Ею отличались все те, которые в то время вращались в студенческих кружках.

Вскоре после моего возвращения из-за границы Дмитрий предложил мне вступить в кружок, известный в то время среди молодежи под названием кружка Чайковского. Под этим именем он сыграл важную роль в социальном развитии России и под тем же именем перейдет в историю.—Члены нашего кружка, покуда, большею частью конституционалисты,—сказал мне К.:—но все они прекрасные люди. Они готовы принять всякую честную идею. У них много друзей повсюду в России; вы сами увидите впоследствии, что можно сделать.—Я был уже знаком с Н. В. Чайковским и некоторыми членами его кружка. Чайковский произвел на меня обаятельное впечатление с первого же раза. И до настоящего времени, в продолжение многих лет, наша дружба не поколебалась.

Кружок возник из очень небольшой группы мужчин и женщин,—в числе последних была Софья Перовская,—соединившихся для самообразования и самоусовершенствования. В 1869 году Нечаев попытался организовать тайное революционное общество из молодежи, проникнутой желанием работать среди народа. Но для достижения своей цели он прибег к приему старинных заговорщиков, и не останавливался даже перед обманом, чтобы заставить членов сообщества следовать за собою. Такие приемы не могут иметь успех в России, и скоро нечаевская организация рухнула. Всех членов арестовали; несколько лучших и наиболее честных людей из русской интеллигенции сослали в Сибирь, прежде чем они успели сделать что-нибудь. Кружок саморазвития, о котором я говорю, возник из желания противодействовать нечаевским способам деятельности. Чайковский и его друзья рас-

судили совершенно верно, что нравственно-развитая личность должна быть в основе всякой организации, независимо от того, какой бы политический характер она потом ни приняла и какую бы программу деятельности она ни усвоила под влиянием событий. Вот почему кружок Чайковского, постепенно раздвигая свою программу, так широко распространился по России и достиг таких серьезных результатов. Поэтому также, впоследствии, когда свирепые преследования со стороны правительства породили революционную борьбу, кружок выдвинул ряд выдающихся деятелей и деятельниц, павших в бою с самодержавием.

В то время, то есть в 1872 году, кружок не имел в себе ничего революционного. Если бы он остался простым кружком саморазвития, то члены его скоро закаменели бы как в ските. Но кружок нашел подходящую работу. Чайковцы стали распространять хорошие книги. Они покупали целыми изданиями сочинения Лассаля, Флеровского-Берви („О положении рабочего класса в России"), Маркса, труды по русской истории и распространяли их среди студентов в провинциальных городах. Через несколько лет в „тридцати восьми губерниях Российской империи", употребляя подсчет обвинительного акта, — не было сколько-нибудь значительного города, где кружок не имел бы товарищей, занимавшихся распространением этого рода литературы. С течением времени, под влиянием общего хода событий и побуждаемый вестями, прибывавшими из Западной Европы о быстром росте рабочего движения,—кружок все больше становился центром социалистической пропаганды среди учащейся молодежи и естественным посредником между членами провинциальных кружков. А затем наступил день, когда преграда, отделявшая студентов от работников, рухнула, и завязались прямые сношения с петербургскими и отчасти провинциальными рабочими. В это самое время, весной 1872 года, я присоединился к кружку.

Мои читатели в Западной Европе, вероятно, не мало были разочарованы, когда узнали, что принятие в тайное общество не сопровождалось никакими

клятвами и обрядами, о которых так много наговорили им романисты. Ничего этого, конечно, не было. Даже одна мысль о ритуале приема насмешила бы нас и вызвала бы со стороны Дмитрия такую саркастическую насмешку, от которой любитель церемоний, если бы такой нашелся, устыдился бы. У кружка даже не было устава. В члены принимались только хорошо известные лица, испытанные много раз, так что им можно было безусловно доверять. Прежде чем принять нового члена, характер его обсуждался со всею откровенностью, присущею нигилистам. Малейший признак неискренности или самомнения,—и его не принимали. Чайковцы не гнались за тем, чтобы набрать побольше членов. Тем меньше стремились они к тому, чтобы непременно руководить всеми многочисленными кружками, зарождавшимися в столицах и в провинции, и взять, так сказать, на откуп все движение среди молодежи. С большинством из кружков мы были в дружеских сношениях; мы помогали им, и они помогали нам; но мы не покушались на их независимость.

Наш кружок оставался тесной семьей друзей. Никогда впоследствии я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первом заседании кружка Чайковского. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью.

VI.

Когда я присоединился к чайковцам, они горячо спорили о том, какой характер следует придать их деятельности. Некоторые стояли за радикальную и социалистическую пропаганду среди молодежи. Другие же держались того мнения, что у кружка должна быть одна цель: подготовить людей, которые могли бы поднять громадную, косную рабочую массу, а потому стояли за перенесение центра агитации в среду крестьян и городских работников. Такие же споры шли во всех кружках и группах, которые тогда сотнями возникали в Петербурге и в провинциальных городах. И всюду сторонники второй программы брали верх.

Если бы молодежь того времени была только за абстрактный социализм, она удовлетворилась бы тем, что выставила бы несколько общих принципов,—например о желательности в более или менее отдаленном будущем коммунистического владения орудиями производства, а затем занялась бы политической агитацией. В Западной Европе и в Америке так именно и поступают социалисты, вышедшие из средних классов. Но русская молодежь того времени подошла к социализму совсем иным путем. Молодые люди не строили теорий социализма, а становились социалистами, живя не лучше, чем работники, не различая в кругу товарищей между „моим" и „твоим" и отказываясь лично пользоваться состояниями, полученными по наследству. Они поступали по отношению к капитализму так, как, по совету Толстого, следует поступать по отношению к войне: то есть, вместо того чтобы критиковать войну и в то же время носить мундир,—каждый должен отказаться от военной службы и от ношения оружия. Таким же образом молодые люди, каждый и каждая за себя, отказались от пользования доходами родителей. Такая молодежь неизбежно должна была пойти в народ, и она пошла. Тысячи молодых людей и девушек уже оставили дома своих родителей и жили в деревнях и в фабричных городах под всевозможными видами. Это не было организованное движение, а стихийное,—одно из тех массовых движений, которые наблюдаются в моменты пробуждения человеческой совести. Теперь, когда начали возникать небольшие организованные кружки, готовившиеся сделать систематическую попытку распространения идей свободы и возмущения,—самая сила вещей толкнула их на путь пропаганды среди крестьян и городских рабочих.

Различные писатели пробовали объяснить движение в народ влиянием извне: влияние эмигрантов—любимое объяснение всех полиций всего мира. Нет никакого сомнения, что молодежь прислушивалась к мощному голосу Бакунина; верно также и то, что деятельность Интернационала производила на нас чарующее впечатление. Но причины движения в народ лежали гораздо

глубже. Оно началось раньше, чем „заграничные агитаторы“ обратились к русской молодежи, и даже раньше возникновения Интернационала. Оно обозначилось уже в каракозовских кружках в 1866 году. Его видел еще раньше Тургенев в 1859 году и отметил в общих чертах. В кружке чайковцев я всеми силами содействовал развитию этого, уже наметившегося движения; но в этом отношении мне приходилось только плыть по течению, которое было гораздо сильнее, чем усилие отдельных личностей.

Конечно, мы часто говорили также о необходимости политической агитации против самодержавия. Мы видели, что крестьяне совершенно разорены чрезмерными податями и продажей скота для покрытия недоимок. Мы, мечтатели, и тогда уже предвидели то полное обнищание всего населения, которое, увы, теперь стало свершившимся фактом, охватило большую часть Средней России и признается ныне даже правительством. Мы знали, какой наглый грабеж идет повсеместно в России. Мы знали о произволе чиновников, о почти невероятной грубости многих из них, и каждый день приносил нам новые факты в этом направлении. Мы постоянно слышали о ночных обысках, об арестованных друзьях, которых гноили по тюрьмам и потом ссылали административным порядком в глухие поселки на окраинах России. Мы сознавали поэтому необходимость политической борьбы против этой страшной власти, убивавшей лучшие умственные силы страны. Но мы не видели никакой почвы, легальной или полулегальной, для подобной борьбы.

Наши старшие братья не признавали наших социалистических стремлений, а мы не могли поступиться ими. Впрочем, если бы некоторые из нас и отреклись от этих идеалов, то и то бы не помогло. Все молодое поколение, огулом, признавалось „неблагонадежным“, и потому старшее поколение боялось иметь что-нибудь общее с ним. Каждый молодой человек, проявлявший демократические симпатии, всякая курсистка были под тайным надзором полиции и обличались Катковым как крамольники и внутренние враги государства. Обвинения в политической неблагонадежности строились

на таких признаках как синие очки, подрезанные волосы и плэд. Если к студенту часто заходили товарищи, то полиция уже наверное производила обыск в его квартире. Обыски студенческих квартир производились так часто, что Дмитрий, со своим обычным добродушным юмором, раз заметил жандармскому офицеру, рывшемуся у него:—И зачем это вам перебирать все книги, каждый раз, как вы у нас производите обыск? Завели бы вы себе список их, а потом приходили бы каждый месяц и проверяли, все ли на месте и не прибавилось ли новых.—По малейшему подозрению в политической неблагонадежности студента забирали, держали его по году в тюрьме, а потом ссылали куда-нибудь подальше, на „неопределенный срок", как выражалось начальство на своем бюрократическом жаргоне. Даже в то время, как чайковцы занимались только распространением пропущенных цензурой книг,—Чайковского дважды арестовали и продержали в тюрьме по пяти или шести месяцев; причем в последний раз арест произошел в критический для него момент. Только что перед тем появилась его работа по химии в „Бюллетене Академии наук", а сам он готовился сдать последние экзамены на кандидата. В конце концов его выпустили, так как жандармы не могли найти никаких поводов для ссылки его.—Но помните, если мы вас еще раз арестуем,—тем не менее сказали ему:—вы будете сосланы в Сибирь.—Заветной мечтой правительства, действительно, было основать где-нибудь в степях отдельный город, зорко охраняемый казаками, и ссылать туда всех подозрительных молодых людей. Лишь опасность, которую представлял бы такой город, с населением в двадцать-тридцать тысяч политически неблагонадежных, помешала осуществить поистине азиатский план.

Один из наших членов, офицер Ш—о, принадлежал к группе молодежи, которая стремилась на земскую службу. Она считала эту службу своего рода миссией и усиленно готовилась к ней серьезным изучением хозяйственного положения России. Многие молодые люди некоторое время лелеяли такие же

надежды, которые рассеялись, как туман, при первом столкновении с государственной машиной. Правительство дало слабое подобие самоуправления некоторым губерниям и сейчас же, путем урезок, приняло меры, чтобы реформа потеряла всякое жизненное значение и смысл. Земству пришлось довольствоваться ролью чиновников для сбора дополнительных налогов для покрытия местных государственных нужд. Каждый раз, когда земство брало на себя инициативу в устройстве народных школ и учительских семинарий, в заботах о народном здравии, в земледельческих улучшениях,—оно встречало со стороны правительства подозрительность и недоверие, а со стороны „Московских ведомостей" доносы и обвинения в сепаратизме, в стремлении устроить „государство в государстве", в „подкапывании под самодержавие".

Если бы кто-нибудь вздумал, например, рассказать подлинную историю борьбы тверского губернского земства из-за его учительской семинарии; если бы кто поведал про все мелкие преследования, придирки и запрещеня,—никто за границей ему бы не поверил. Читатель отложил бы книгу, говоря:—слишком уж глупо, чтобы так было на деле.—А между тем все так именно и происходило. Не мало гласных отрешались от должности, высылались из губернии, а то попросту отправлялись в ссылку за то, что осмеливались подавать царю верноподданнейшие прошения о правах, принадлежавших и так уже земствам по закону. „Гласные уездных и губернских земств должны быть простыми министерскими чиновниками и повиноваться министерству внутренних дел". Такова была теория петербургского правительства. Что же касается до народа помельче, состоявшего на земской службе,—например учителей, врачей, акушерок, то их без церемонии, по простому распоряжению всесильного Третьего отделения, отрешали в двадцать четыре часа от службы и отправляли в ссылку. Не дальше как в 1896 году одна богатая помещица, муж которой занимает видное положение в одном из земств, пригласила на свои именины восемь народных учителей. „Они, бедняги, никого не видят там, кроме мужи-

ков",—сказала про себя барыня. На другой день после бала явился к ней урядник и потребовал список приглашенных учителей для рапорта по начальству. Помещица отказала.

— Ну, хорошо,—сказал урядник:—я сам дознаюсь и отрапортую. Учителя не имеют права собираться вместе. Если они сделали это, я обязан донести.

Высокое общественное положение барыни в данном случае спасло учителей; но соберись они у одного из товарищей, к ним, наверное, нагрянули бы жандармы, и половина была бы уволена министерством народного просвещения. А если бы у кого-нибудь из них сорвалось резкое слово во время нашествия, то его наверное отправили бы подальше. Такие-то дела происходят теперь, через тридцать три года после введения земского положения; но в семидесятых годах было еще хуже. Какой же базис для политической борьбы могли представлять подобные учреждения?

Когда я получил по наследству от отца тамбовское поместье, я некоторое время серьезно думал поселиться там и посвятить всю энергию земской службе. Некоторые крестьяне и бедные священники окружных деревень просили меня об этом. Что касается меня, я удовольствовался бы всяким делом, как бы скромно оно ни было, если бы только оно дало мне возможность поднять умственный уровень и благосостояние крестьян. Раз, когда некоторые из тех, которые советовали мне остаться, собрались вместе,—я спросил их:

— Предположим, я попробую открыть школу, заведу образцовую ферму, артельное хозяйство, а вместе с тем заступлюсь вот за такого-то из наших крестьян, волостного судью, которого недавно выпороли в угоду помещику С—ну. Дадут ли мне возможность продолжать?—И все мне ответили единодушно:—ни за что.

Несколько дней спустя явился ко мне очень уважаемый в окрестности седой священник с двумя влиятельными раскольничьими наставниками.

— Потолкуйте с ними хорошенько,—сказал он мне.—Если у вас лежит к тому сердце, так вы идите с ними, и с Евангелием в руках проповедуйте крестьянам... Вы сами знаете, что́ проповедывать...

Никакая полиция не разыщет вас, если они вас будут скрывать. Ничего другого не поделаешь. Вот какой совет я, старик, могу вам подать.

Я откровенно сказал им, почему не могу стать новым Виклифом. Но старик был прав. Теперь среди крестьян быстро распространяется движение, подобное религиозному движению лоллардов. Пытки, которым подверглись миролюбивые духоборы, и набеги, свершавшиеся в 1897 году на штундистов, у которых отнимали детей для воспитания их в провинциальных монастырях,—придадут движению еще большую силу, чем оно могло проявить двадцать пять лет тому назад.

Так как во время наших споров постоянно поднимался вопрос о необходимости агитации в пользу конституции, — то я однажды предложил кружку серьезно обсудить это дело и выработать план действий. Я всегда держался того мнения, что если кружок что-нибудь решит единогласно, каждый должен отложить свое личное чувство и приложить все усилия для общей работы. —Если вы решите вести агитацию в пользу конституции,—говорил я:—то сделаем так. Я отделюсь от кружка в видах конспирации и стану поддерживать сношения с ним через кого-нибудь одного,—например Чайковского. Через него вы будете мне сообщать о вашей деятельности, а я буду знакомить вас в общих чертах с моею. Я же поведу мою агитацию в высших и придворных кругах. Там у меня много знакомых, и там я знаю не мало таких, которые уже недовольны современным порядком. Я сведу их вместе и, если удастся, объединю в какую-нибудь организацию. А впоследствии наверное выпадет случай двинуть все эти силы с целью заставить Александра II дать России конституцию. Придет время, когда все эти люди, видя, что они скомпрометированы, в своих собственных же интересах вынуждены будут сделать решительный шаг. Те из нас, которые были офицерами, могли бы вести пропаганду в армии. Но вся эта деятельность должна вестись отдельно от вашей, хотя и параллельно с ней. Я серьезно об этом думал и знаю, какие у меня есть связи и кому можно дове-

рять: думаю также, что некоторые из недовольных уже и теперь смотрят на меня как на своего рода центр, вокруг которого можно объединиться. Лично я не выбрал бы такой деятельности; но если вы думаете, что так нужно, я отдамся ей душой и телом.

Кружок не принял этого предложения. Зная отлично друг друга, товарищи вероятно решили, что, избрав такую деятельность, я не буду верен самому себе. В видах чисто личных я теперь крайне рад, что мое предложение тогда не приняли. Я пошел бы по пути, к которому не лежало мое сердце, и не нашел бы личного счастья, которое встретил, пойдя по другому направлению...

Но шесть или семь лет спустя, когда террористы были всецело поглощены страшной борьбой с Александром II, я пожалел о том, что кто-нибудь другой не занялся в высших петербургских кругах выполнением плана, который я изложил перед кружком. Если бы почва была подготовлена, то разветвившееся по всей империи движение, быть может, сделало бы то, что гекатомба жертв не погибла бы напрасно. Во всяком случае рядом с подпольной деятельностью Исполнительного комитета, обязательно должна была бы вестись параллельная агитация в Зимнем дворце.

Не раз обсуждали мы в нашем кружке необходимость политической борьбы, но не приходили ни к какому результату. Апатия и равнодушие богатых классов были безнадежны, а раздражение среди молодежи еще не достигло того напряжения, которое выразилось шесть или семь лет спустя борьбой террористов под руководством Исполнительного комитета. Мало того,—такова трагическая ирония истории,—та самая молодежь, которую Александр II отправлял сотнями в ссылку и в каторжные работы,—охраняла его в 1871—1878 гг. Сами социалистические программы кружков мешали повторению нового покушения на царя. Лозунгом того времени было: „Подготовьте в России широкое социалистическое движение среди крестьян и рабочих. О царе же и его советниках не

хлопочите. Если движение начнется, если крестьяне присоединятся массами и потребуют землю и отмену выкупных платежей, правительство прежде всего попробует опереться на богатые классы и на помещиков и созовет земский собор. Точно таким же образом крестьянские восстания во Франции в 1789 году принудили королевскую власть созвать Национальное собрание. То же самое будет и в России".

Отдельные личности и кружки настаивали на необходимости повторить попытку Каракозова. Но организованные кружки упорно были против этого и настойчиво отговаривали товарищей. Теперь я могу обнародовать факт, который до сих пор был неизвестен. Из южных губерний приехал однажды в Петербург молодой человек с твердым намерением убить Александра II. Узнав об этом, некоторые чайковцы долго убеждали юношу не делать этого; но так как они не могли переубедить его, то заявили, что помешают ему силой. Зная, как слабо охранялся в ту пору Зимний дворец, я могу утвердительно сказать, что чайковцы тогда спасли Александра II. Так тверда была тогда молодежь против той самой войны, в которую она бросилась потом с самоотвержением, когда чаша ее страданий переполнилась.

VII.

Те два года, что я проработал в кружке Чайковского, оставили во мне глубокое впечатление навсегда. В эти два года моя жизнь была полна лихорадочной деятельности. Я познал тот мощный размах жизни, когда каждую секунду чувствуешь напряженное трепетание всех фибр внутреннего *я*,—тот размах, ради которого одного только и стóит жить. Я находился в семье людей, так тесно сплоченных для общей цели и взаимные отношения которых были проникнуты такой глубокой любовью к человечеству и такой тонкой деликатностью, что не могу припомнить ни одного момента, когда жизнь нашего кружка была бы омрачена хотя бы малейшим недоразумением. Этот факт

оценят в особенности те, которым приходилось когда-нибудь вести политическую агитацию.

Прежде чем совершенно оставить ученую деятельность, я считал моею обязанностью закончить для Географического общества отчет о поездке в Финляндию, а также и другие географические работы. Мои новые друзья так и советовали мне.—Не хорошо было бы поступить иначе,—говорили они. Потому я засел усердно за работу, чтобы поскорее закончить мои книги по географии и геологии.

Наш кружок собирался часто, и я никогда не пропускал сходок. Мы собирались тогда в предместье Петербурга, в домике, который сняла Софья Перовская, жившая под паспортом жены мастерового. Перовская, как известно, родилась в аристократической семье. Отец ее одно время был петербургским военным губернатором. С согласия матери, обожавшей дочь, Софья Перовская оставила родной дом и поступила на высшие курсы, а потом с тремя сестрами Корниловыми, дочерьми богатого фабриканта, основала тот маленький кружок саморазвития, из которого впоследствии возник наш. Теперь, в повязанной платком мещанке, в ситцевом платье, в мужских сапогах, таскавшей воду из Невы, никто не узнал бы барышни, которая недавно блистала в аристократических петербургских салонах. Она была общей любимицей. Каждый из нас, входя в дом, который она пыталась содержать в чистоте, улыбался ей особенно дружески; мы улыбались даже тогда, когда она донимала нас за грязь, которую мы натаскивали нашими мужицкими сапогами и полушубками: мы долго месили грязь предместья, покуда добирались до домика. Перовская пыталась тогда придать своему невинному, очень умному личику самое ворчливое выражение, какое только могла, за что мы и прозвали ее „Захаром“. По нравственным воззрениям она была ригористка, но отнюдь не проповедница. Когда она была недовольна кем-нибудь, то бросала на него строгий взгляд исподлобья; но в нем виделась открытая, великодушная натура, которой все человеческое было доступно. Только по одному пункту она была непреклонна.—Бабник!—выпалила она однажды,

говоря о ком-то, и выражение, с которым она произнесла это слово, не отрываясь от работы, навеки врезалось в моей памяти.

Перовская была „народницей“ до глубины души и в то же время революционеркой и бойцом чистейшего закала. Ей не было надобности украшать работников и крестьян вымышленными добродетелями, чтобы полюбить их и чтобы работать для них. Она брала их такими, как они есть, и раз, помню, сказала мне:—Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем; но сделать его надо.—Ни одна из женщин нашего кружка не отступила бы пред смертью на эшафоте. Каждая из них заглянула бы смерти прямо в глаза. Но в то время, в этой стадии пропаганды, никто об этом еще не думал. Известный портрет Перовской очень похож на нее. Он хорошо передает ее сознательное мужество, ее открытый здравый ум и любящую душу. Никогда еще женщина не выразила так своего чувства любящей души, как Перовская в том письме к матери, которое она написала за несколько часов до того, как взошла на эшафот.

Следующий случай покажет, каковы были остальные женщины, принадлежавшие к нашему кружку. Раз ночью мы с Куприяновым отправились с важным сообщением к Варваре Б. Было уже далеко за полночь; но так как мы увидали свет в ее окне, то поднялись по лестнице. Б—ва сидела в маленькой комнате за столом и переписывала программу нашего кружка. Мы знали ее решительность, и нам пришла в голову мысль выкинуть одну из тех глупых шуток, которые люди иногда считают остроумными.

— Б., мы пришли за вами,—начал я.—Мы хотим сделать почти безумную попытку освободить товарищей из крепости.

Б. не задала ни одного вопроса. Она положила перо, спокойно поднялась и сказала:—Идем!—Она произнесла это так просто, что я сразу понял, как глупа была моя шутка, и признался во всем Б. Она опять опустилась на стул, и на глазах у ней блеснули слезы.—Так это была только шутка?—переспросила она

с упреком. Как можно этим шутить!—Я вполне понял тогда всю жестокость моих слов.

Другим общим любимцем нашего кружка был Сергей Кравчинский, хорошо известный в Англии и в Америке под псевдонимом Степняка. Мы иногда называли его „Младенцем", так мало заботился он о собственной безопасности. Но эта беззаботность являлась результатом бесстрашия, которое в конце концов бывает часто лучшим средством спастись от преследований полиции. Он скоро стал хорошо известен рабочим, как пропагандист, под именем „Сергея", и поэтому полиция усиленно его разыскивала. Несмотря на то, он не принимал никаких мер предосторожности. Помнится, раз на сходке ему задали большую головомойку за то, что товарищи сочли большой неосторожностью. Сергей по обыкновению опоздал на сходку и, чтобы попасть во-время, он, одетый мужиком, в полушубке, промчался бегом по середине Литейной.

— Как же можно так делать?—упрекали его.—Ты мог возбудить подозрение, и тебя забрали бы как простого вора!

Но я желал бы, чтобы все были так же осторожны, как Сергей, в тех случаях, когда могли бы быть скомпрометированы другие.

Мы сблизились с ним впервые по поводу книги Стэнли: „Как я нашел Ливингстона". Раз наша сходка затянулась до полуночи; когда мы уже собирались расходиться, вошла с книгой одна из Корниловых и спросила, кто из нас возьмется перевести к восьми часам утра шестнадцать страниц английского текста. Я взглянул на размер страниц и сказал, что если кто-нибудь поможет мне, то работу можно сделать за ночь. Вызвался Сергей, и к четырем часам утра печатный лист был переведен. Мы прочитали друг другу наши переводы, причем один следил по английскому тексту. Затем мы опорожнили горшок каши, который оставили для нас на столе, и вместе вышли, чтобы возвратиться домой. С той ночи мы стали близкими друзьями

Я всегда любил людей, умеющих работать и выполняющих свою работу как следует. Поэтому перевод

Сергея и его способность быстро работать уже расположили меня в его пользу. Когда же я узнал его ближе, то сильно полюбил его за честный, открытый характер, за юношескую энергию, за здравый смысл, за выдающийся ум и простоту, за верность, смелость и стойкость. Сергей много читал и много думал, и, оказалось, мы держались одинаковых взглядов на революционный характер начатой нами борьбы. Он был лет на десять моложе меня и, быть может, не вполне еще отдавал себе отчет, какую упорную борьбу вызовет предстоящая революция. Впоследствии он с большим юмором рассказывал эпизод из своего раннего хождения в народ. — Раз, — рассказывал он, — идем мы с товарищем по дороге. Нагоняет нас мужик на дровнях. Я стал толковать ему, что податей платить не следует, что чиновники грабят народ и что по Писанию выходит, что надо бунтовать. Мужик стегнул коня; но и мы прибавили шагу. Он погнал лошадь трусцой; но и мы побежали вслед, и все время я продолжал ему втолковывать насчет податей и бунта. Наконец мужик пустил коня вскачь; но лошаденка была дрянная, так что мы не отставали от саней и пропагандировали крестьянина, покуда совсем перехватило дыханье.

Некоторое время Сергей жил в Казани, и мне приходилось вести с ним переписку. Он ненавидел шифровку писем, поэтому я предложил ему другой способ переписки, который часто и прежде применялся для конспиративных целей. Вы пишете самое обыкновенное письмо о разных разницах; но в нем следует читать только некоторые слова,—например пятое. Так, вы пишете: „Прости, что пишу второпях. Приходи ко мне сегодня вечером. Завтра утром я должен поехать к сестре Лизе. Моему брату Николаю стало хуже. Теперь уже поздно сделать операцию“. Читая каждое пятое слово, получается: „Приходи завтра к Николаю, поздно“. Приходилось писать письма на шести-семи страницах, чтобы передать одну страницу сообщений. Нужно было кроме того изощрять воображение, чтобы выдумать письмо, в которое можно было бы втиснуть все необходимое. Сергею, от которого невозможно было

добиться зашифрованного письма, очень понравился этот способ переписки. Он строчил мне послания, содержавшие целые повести с потрясающими эпизодами и драматической развязкой. Впоследствии он говорил мне, что эти письма помогли ему развить беллетристический талант. Если у кого есть дарование, то все содействует его развитию.

В январе или феврале 1874 года я жил в Москве, в одном из тех домов, в котором прошло мое детство. Раз рано утром мне сказали, что меня желает видеть какой-то крестьянин. Я вышел и увидал Сергея, который только что бежал из Тверской губернии. Он был очень силен и ходил по деревням как пильщик, вместе с другим, таким же силачом, отставным офицером Рогачевым. Работа была очень тяжелая, в особенности для непривычных рук; но и Рогачев и Сергей полюбили ее. Никто не узнал бы в здоровых пильщиках бывших офицеров. Они ходили таким образом, не возбуждая подозрения, недели две, смело пропагандируя направо и налево. Иногда Сергей, знавший Евангелие почти наизусть, толковал его мужикам и доказывал стихами из него, что следует начать бунт. Иногда он толковал им от великих экономистов. Крестьяне слушали пропагандистов, как настоящих апостолов, водили их из избы в избу и отказывались брать деньги за харчи. В две недели пропагандисты создали настоящее брожение в нескольких деревнях. Молва про них распространилась широко вокруг. Старые и молодые крестьяне стали шептаться по амбарам про „ходоков“ и начали громче говорить, что скоро землю отберут от господ, которых царь возьмет на жалованье. Молодежь стала посмелее по отношению к полиции и говорила: — Подождите, скоро придет наш черед. Не будете вы, иродово племя, верховодить над нами!“— Но слава про пильщиков дошла и до станового, и их забрали. Отдан был приказ доставить их в стан, находившийся верстах в двадцати.

Повели их под конвоем нескольких мужиков. По пути пришлось проходить деревней, где был храмовой праздник.

— Кто такие? Арестанты? Ладно. Валяй к нам, дяденьки,—говорили пировавшие мужики.

Арестантов и стражу задержали на целый день, водя их из избы в избу и угощая брагой. Стражники не заставляли себя упрашивать долго. Они пили и убеждали арестантов тоже пить.—К счастью,—рассказывал Сергей,—брага обходила кругом в таком большом жбане, что никто не мог видеть, сколько я пью, когда я прикладывался к посудине.—К вечеру стража перепилась; и, так как она не хотела предстать в таком виде пред становым, то решено было заночевать в деревне. Сергей все время беседовал с крестьянами. Они слушали его и жалели, что таких хороших людей ведут в стан. Когда все укладывались спать, один из молодых конвойных шепнул Сергею:—Ворота я притворю только,—не запру на запор.—Сергей и Рогачев поняли намек. Когда все заснули, они выбрались на улицу, пошли скорым шагом и к пяти часам утра были уже верстах в двадцати пяти от деревни, на полустанке, где с первым поездом отправились в Москву. Сергей тут и остался. Потом, когда нас всех в Петербурге арестовали, московский кружок, в котором вдохновителями были он и Войнаральский, сделался главным центром агитации.

Там и сям пропагандисты селились небольшими группами, под различными видами, в городах и в деревнях. Устраивались кузницы, другие садились на землю, и молодежь из богатых семей работала в этих мастерских или же в поле, чтобы быть в постоянном соприкосновении с трудящимися массами. В Москве несколько бывших цюрихских студенток основали свою собственную организацию и сами поступили на ткацкие фабрики, где работали по четырнадцати-шестнадцати часов в день и вели в общих казармах тяжелую, неприглядную жизнь русских фабричных женщин. То было великое, подвижническое движение, в котором по меньшей мере принимало активное участье от двух до трех тысяч человек; причем вдвое или втрое больше этого сочувствовали и всячески помогали боевому авангарду. Наш петербургский кру-

жок правильно переписывался (конечно, при помощи шифров) с доброй половиной этой армии.

Мы скоро нашли недостаточной легальную литературу, в которой строгая цензура запрещала всякий намек на социализм, и завели за границей собственную типографию. Приходилось, конечно, составлять особые брошюры для работников и крестьян, так что у „литературного комитета", членом которого я состоял, работы всегда было много. Сергей написал несколько из этих брошюр, между прочим „Слово на великий пяток", в духе Ламенэ; в другой же, „Мудрица Наумовна", он излагал социалистическое учение в форме сказки. Обе брошюры имели большой успех. Книги и брошюры, отпечатанные за границей, ввозились контрабандой тюками в Россию, складывались в известных местах, а потом рассылались местным кружкам, которые распространяли уже литературу среди крестьян и работников. Для всего этого требовалась громадная организация, частые поездки за границу, обширная переписка. В особенности это нужно было, чтобы охранять наших помощников и книжные склады от полиции. У нас имелись и специальные шифры для каждого из провинциальных кружков, и часто, после шести-или семичасового обсуждения мельчайших подробностей, женщины, не доверявшие нашей аккуратности в шифрованной переписке, работали еще ночь напролет, исписывая листы кабалистическими знаками и дробными числами.

Наши заседания отличались всегда сердечным отношением членов друг к другу. Председатель и всякого рода формальности крайне не по сердцу русским, и у нас ничего подобного не было. И, хотя наши споры бывали порой очень горячи, в особенности, когда обсуждались „програмные вопросы", мы всегда отлично обходились без западноевропейских формальностей. Довольно было одной абсолютной искренности, общего желания разрешить дело возможно лучше и нескрываемого отвращения ко всякому проявлению театральности. Если бы кто-нибудь из нас прибег к декламаторским эффектам в речи, мы шутками напомнили бы ему, что цветы красноречия неуместны. Часто нам

приходилось обедать на сходках же — и наша еда неизменно состояла из черного хлеба, соленых огурцов, кусочка сыра или колбасы и жидкого чая вволю. Ели мы так не потому, что денег было мало; их у нас было всегда много; и все же их нехватало на все расходы по печатанью и перевозке книг, укрыванию товарищей, разыскиваемых жандармами, и на всякие новые предприятия.

В Петербурге мы скоро завели обширные знакомства среди рабочих. Сердюков, юноша, получивший прекрасное образование, завел многих приятелей среди заводских рабочих, большая часть которых работала на казенном оружейном заводе, и устроил кружок, человек в тридцать, собиравшийся для чтения и бесед. Заводским недурно платили в Петербурге, и холостые жили, не нуждаясь. Они скоро освоились с радикальной и социалистической литературой того времени, и Бокль, Лассаль, Милль, Дрэпер, Шпильгаген стали для них знакомыми именами. По развитию эти заводские мало чем отличались от студентов. Когда Дмитрий, Сергей и я присоединились к чайковцам, мы втроем часто посещали их кружок и вели там беседы на различные темы. Однако наши надежды, что эти молодые люди станут пропагандистами среди остальных работников, положение которых гораздо хуже ихнего, не вполне оправдались. В свободной стране они стали бы обычными ораторами на общественных сходках; но, подобно привилегированным женевским часовщикам, они относились к простым фабричным с некоторого рода пренебрежением и отнюдь не горели желанием стать мучениками социалистического дела. Только после того, как большинство из них арестовали, и некоторых продержали в тюрьме года по три, за то, что они дерзнули думать, как социалисты; после того лишь, как некоторые измерили всю безграничность российского произвола, они стали горячими пропагандистами — главным образом политической революции.

Мои симпатии влекли меня преимущественно к ткачам и к фабричным рабочим вообще. В Петербург сходятся тысячи таких работников, которые на лето возвращаются в свои деревни пахать землю. Эти полу-

крестьяне, полу-фабричные приносят в город мирской дух русской деревни. Революционная пропаганда среди них шла очень успешно. Мы должны были даже удерживать рвение наших новых друзей: иначе они водили бы к нам на квартиры сотни товарищей, стариков и молодежь. Большинство их жило небольшими артелями, в десять-двенадцать человек, на общей квартире и харчевались сообща, причем каждый участник вносил ежемесячно свою долю расходов. На эти-то квартиры мы и отправлялись. Ткачи скоро познакомили нас с другими артелями: каменщиков, плотников и тому подобными, и в некоторых из этих артелей Сергей, Дмитрий, Ш—о и некоторые другие наши товарищи были свои люди; целые ночи толковали они тут про социализм. Во многих частях Петербурга и предместий у нас были особые квартиры, снимаемые товарищами. Туда каждый вечер приходило человек десять работников, чтобы учиться грамоте и потом побеседовать. Время от времени кто-нибудь из нас отправлялся также на неделю или две в те деревни, откуда были родом наши приятели, и там пропагандировал почти открыто среди крестьян.

Конечно, все те, которые вели пропаганду среди работников, переодевались крестьянами. Пропасть, отделяющая в России „барина“ от мужика, так глубока, они так редко приходят в соприкосновение, что появление в деревне человека, одетого „по-господски“, возбуждало бы всеобщее внимание. Но даже и в городе полиция немедленно бы насторожилась, если бы заметила среди работников человека, не похожего на них по платью и разговору: „Чего ему якшаться с простым народом, если у него нет злого умысла?“ Очень часто после обеда в аристократическом доме, а то даже в Зимнем дворце, куда я заходил иногда повидать приятеля, я брал извозчика и спешил на бедную студенческую квартиру в дальнем предместье, где снимал изящное платье, надевал ситцевую рубаху, крестьянские сапоги и полушубок и отправлялся к моим приятелям-ткачам, перешучиваясь по дороге с мужиками. Я рассказывал моим слушателям про рабочее движение за границей, про Интернационал,

про Коммуну 1871 года. Они слушали с большим вниманием, стараясь не проронить ни слова, а затем ставили вопрос:—Что мы можем сделать в России?—Мы отвечали:—„Следует проповедывать, отбирать лучших людей и организовать их. Другого средства нет.—Мы читали им историю Французской революции, по переделке из превосходной „Истории крестьянина“ Эркмана Шатриана. Все восторгались „г. Шовелевым“, ходившим по деревням и распространявшим запрещенные книги. Все горели желанием последовать его примеру.—Толкуйте с другими, — говорили мы: — сводите людей между собою, а когда нас станет больше, мы увидим, чего можно добиться.—Работники вполне понимали нас, и нам приходилось только удерживать их рвение.

Среди них я проводил не мало хороших часов. В особенности памятен мне первый день 1874 года, последний Новый год, который я провел в России на свободе. Новый год я встретил в избранном обществе. Говорилось там не мало выспренних, благородных слов о гражданских обязанностях, о благе народа и тому подобном. Но во всех этих прочувствованных речах чуялась одна нота. Каждый из гостей, казалось, был в особенности занят мыслью, как бы ему сохранить свое собственное благосостояние. Никто однако не смел прямо и открыто признаться, что он готов сделать только то, что не сопряжено ни с какими опасностями для него. Софизмы, бесконечный ряд софизмов на счет медленности эволюций, косности масс, бесполезности жертв высказывались для того только, чтобы скрыть истинные мотивы, — вперемешку с уверением на счет готовности к жертвам... Мною внезапно овладела тоска, и я ушел с этого вечера.

На другое утро я пошел на сходку ткачей. Она происходила в темном подвале. Я был одет крестьянином и затерялся в толпе других полушубков. Товарищ, которого работники знали, представил меня запросто:—Бородин, мой приятель. Расскажи нам, Бородин, — предложил он: — что ты видел за границей?— И я принялся рассказывать о рабочем движении в Западной Европе; о борьбе пролетариата, о труд-

ностях, которые предстоит ему преодолеть, о его надеждах.

На сходке большею частью были люди среднего возраста. Рассказ мой чрезвычайно заинтересовал их, и они задавали мне ряд вопросов, вполне к делу: о мельчайших подробностях рабочих союзов, о целях Интернационала и о шансах его на успех. Затем пошли вопросы, что можно сделать в России, и о последствиях нашей пропаганды. Я никогда не уменьшал опасностей нашей агитации и откровенно сказал, что думал.—Нас, вероятно, скоро сошлют в Сибирь, а вас, то есть некоторых из вас, продержат долго в тюрьме за то, что вы нас слушали.—Мрачная перспектива не охладила и не испугала их.—Что ж, и в Сибири не все, почитай, медведи живут: есть и люди? Где люди живут, там и мы не пропадем.—Не так страшен чорт, как его малюют.—Волков бояться, в лес не ходить.—От сумы и от тюрьмы не зарекайся.

И, когда потом некоторых из них арестовали, они почти все держались отлично и не выдали никого.

VIII.

В те два года, о которых я говорю, было произведено много арестов как в Петербурге, так и по всей России. Не проходило месяца без того, чтобы мы не досчитывались кого-либо из нас, или без того, чтобы не забрали какого-нибудь из членов провинциальных групп. К концу 1873 года аресты участились. В ноябре полиция нагрянула на одну из наших главных квартир, за Нарвской заставой. Мы потеряли Перовскую и трех других товарищей. Все сношения с работниками в этой части Петербурга пришлось прекратить. Жандармы стали очень бдительны и сразу замечали появление студента в рабочем квартале. Мы основали новое поселение, еще дальше за городом, но и его скоро пришлось оставить. Среди рабочих шныряли шпионы и зорко следили за ними. В наших полушубках, с нашим крестьянским видом, Дмитрий, Сергей и я пробирались незамеченными. Мы продолжали

посещать кварталы, кишевшие жандармами и шпионами. Но положение Дмитрия и Сергея было очень опасно. Полиция усиленно разыскивала их, так как их имена приобрели широкую известность в рабочих кварталах. Если бы К—а или Кравчинского случайно нашли на квартире знакомых, куда полиция явилась бы с обыском, их бы немедленно забрали. Бывали периоды, когда Дмитрию каждый день приходилось разыскивать квартиру, где он сравнительно спокойно мог бы провести ночь.

— Могу я переночевать у вас? — спрашивал он, являясь к товарищу в десятом часу вечера.

— Совсем невозможно. За моей квартирой в последнее время сильно следят. Лучше ступайте к N.

— Да я только что от него. Он говорит, что его дом окружен шпионами.

— Ну, ступайте к М. Он мой большой приятель и вне подозрения, но до него далеко. Возьмите извозчика. Вот деньги. — Но из принципа Дмитрий денег не брал и плелся пешком за ночлегом в противоположный конец города, — а то оставался у товарища, к которому ежеминутно могли нагрянуть с обыском.

В январе 1874 года полиция захватила нашу главную цитадель на Выборгской, служившую нам для пропаганды среди ткачей. Некоторые из наших лучших пропагандистов исчезли за таинственными воротами Третьего отделения. Наш кружок поредел. Собраться на общую сходку становилось все труднее. Мы напрягали все усилия, чтобы образовать новые кружки из молодежи, которая могла бы продолжать дело, когда нас арестуют. Чайковский был тогда на юге. Мы убедили или, попросту, заставили Сергея и Дмитрия уехать из Петербурга. Мы повелели им выехать. Нас оставалось в Петербурге не больше пяти-шести человек, чтобы продолжать дело нашего кружка. Я намеревался, как только сделаю доклад Географическому обществу, отправиться на юг, чтобы там создать род земельной лиги, нечто вроде той организации, которая достигла таких грозных размеров в Ирландии, в конце семидесятых годов.

Два месяца прошло сравнительно спокойно; но вдруг в середине марта мы узнали, что почти весь кружок заводских арестован и вместе с ними бывший студент Низовкин, к несчастью пользовавшийся их доверием. Мы были уверены, что Низовкин, выгораживая себя, выдаст все, что ему известно. Кроме Дмитрия и Сергея, он знал основателя кружка, Сердюкова и меня. Мы рассчитывали, что он наверное назовет наши настоящие имена на допросах. Через несколько дней забрали двух ткачей, крайне ненадежных парней, замотавших даже деньги своих товарищей. Они знали меня под именем Бородина. Эти наверное должны были направить полицию на след Бородина, одетого по-крестьянски и говорившего на сходках ткачей. В одну неделю забрали всех членов нашего кружка, кроме Сердюкова и меня.

Нам не оставалось ничего другого, как только бежать из Петербурга, но именно этого мы не хотели. На наших руках была громадная организация как внутри России, так и за границею для печатания там наших изданий и ввоза контрабандою. Как оставить, не найдя заместителей, всю нашу сеть кружков и колоний в сорока губерниях, которую мы с таким трудом создали в эти годы и с которыми мы вели правильную переписку? Как наконец оставить наши рабочие кружки в Петербурге и наши четыре различных центра для пропаганды среди столичных работников? Как бросить все это, прежде чем мы найдем людей, которые поддержат наши сношения и переписку? Мы с Сердюковым решили принять в наш кружок двух новых членов и передать им все дела. Каждый вечер мы встречались в различных частях города и усердно работали. Имен и адресов мы никогда не записывали. Зашифрованы у нас были и сложены в безопасном месте только адреса по перевозке книг. Поэтому нам нужно было, чтобы новые члены заучили сотни адресов и десяток шифров. Мы до тех пор повторяли их товарищам, покуда они не зазубривали их. Каждый вечер таким образом мы давали наглядный урок по карте Европейской России, останавливаясь в особенности на западной границе, где

жили получавшие переправленные контрабандой книги, и на поволжских губерниях, где находилось большинство наших поселений. Затем, конечно переодевшись, мы водили наших новых товарищей знакомить их с рабочими в разных частях города.

Самое лучшее в таком случае было бы исчезнуть из своей квартиры и появиться в новом месте под чужим именем и с чужим паспортом. Сердюков оставил свою квартиру; но, так как у него не было паспорта, то он скрывался у знакомых. Я должен был бы сделать то же самое; но странное обстоятельство задержало меня. Я только что кончил записку о ледниковых отложениях в Финляндии и в России, которую должен был прочесть на общем собрании в Географическом обществе. Приглашения были уже разосланы, но вышло так, что в назначенный день должно было состояться соединенное заседание двух геологических обществ Петербурга. Они просили Географическое общество отложить на неделю мой доклад. Было известно, что я выскажу несколько мыслей о распространении ледникового покрова до Средней России, а наши геологи, кроме моего друга и учителя Фридриха Шмидта, считали это предположение слишком смелым и хотели основательно разобрать его. Приходилось, стало быть, остаться еще на неделю.

Между тем таинственные незнакомцы бродили вокруг моего дома и заходили ко мне под различными фантастическими предлогами. Один из них предлагал купить лес в моем тамбовском имении, которое лежало в безлесной степи. К моему удивлению я увидал на моей улице, на Малой Морской, одного из упомянутых выше арестованных ткачей. Таким образом я мог убедиться, что за моим домом следят. Между тем я должен был держаться так, как будто не произошло ничего необыкновенного, потому что в следующую пятницу мне предстояло читать доклад в Географическом обществе.

Заседание состоялось. Прения были очень оживленные, и во всяком случае хоть один пункт удалось отвоевать. Наши геологи признали, что все старые теории о дилювиальном периоде в России и разносе

валунов плавающими льдинами решительно ни на чем не основаны и что весь вопрос следует изучить заново. Я имел удовольствие слышать, как наш выдающийся геолог Барбот-де-Марни сказал: — Был ли ледяной покров, или нет, но мы должны сознаться, господа, что все, что мы до сих пор говорили о действии плавающих льдин, в действительности не подтверждается никакими исследованиями.—Мне предложили занять место председателя отделения физической географии, тогда как я сам задавал себе вопрос: не проведу ли я эту самую ночь уже в Третьем отделении.

Мне следовало бы совсем не возвращаться в мою квартиру; но я изнемогал от усталости и вернулся ночевать. В эту ночь жандармы не нагрянули. Я пересмотрел целый ворох моих бумаг, уничтожил все, что могло кого-нибудь скомпрометировать, уложил все вещи и приготовился к отъезду. Я знал, что за моей квартирой следят, но рассчитывал, что полиция явится с визитом только поздно ночью и что поэтому в сумерках, под вечер, мне удастся выбраться незаметно. Стемнело, и, когда я собрался уходить, одна из горничных шепнула мне:—Вы бы лучше вышли по черной лестнице.—Я понял ее, быстро спустился вниз и выбрался из дома. У ворот стоял только один извозчик. Я вскочил на дрожки, и мы поехали по направлению к Невскому проспекту. Вначале за мною не было погони, и я уже думал, что все обстоит благополучно. Но вдруг, уже на Невском, около Думы, я заметил другого извозчика, который гнался за мной вскачь и вскоре стал обгонять нас.

К великому изумлению я увидал на дрожках одного из двух арестованных ткачей, а рядом с ним какого-то неизвестного мне господина. Ткач сделал мне знак рукой, как будто хотел сказать что-то. Я велел моему извозчику остановиться. „Быть может, — подумал я,— его только что выпустили и у него ко мне важные поручения“. Но как только я остановился, господин, сидевший рядом с ткачом (то был шпион), крикнул громко: Г-н Бородин, князь Кропоткин, я вас арестую.—Он подал сигнал полицейским, которых всегда масса на Невском, прыгнул ко мне в дрожки и показал бумагу

с печатью петербургской городской полиции.—У меня приказ пригласить вас немедленно к генерал-губернатору для объяснения,—сказал он. Сопротивление было бесполезно. Два полицейских уже стояли рядом. Я велел моему извозчику повернуть назад и ехать к генерал-губернатору. Ткач остался на своем извозчике и поехал за нами.

Очевидно полиция десять дней колебалась арестовать меня, так как не была уверена, что Бородин и я одно и то же лицо. Мой ответ на призыв ткача разрешил все сомнения.

Случилось так, что как раз тогда, когда я уезжал из дому, приехал из Москвы молодой человек с письмом ко мне от моего приятеля П. П. Войнаральского и к Полякову от Дмитрия. Войнаральский сообщал о том, что в Москве заведена тайная типография. Вообще в его письме было много отрадных вестей о революционной деятельности в этом городе. Я прочитал письмо и уничтожил его; а так как во втором письме не было ничего, кроме невинной приятельской болтовни, то я захватил его с собою. Теперь, когда меня арестовали, я счел за лучшее уничтожить и это письмо. Я потребовал опять у шпиона его бумагу, и, в то время как он доставал ее из кармана, незаметно бросил письмо на мостовую, Но, когда мы подъехали к генерал-губернаторскому дому, ткач подал злосчастную бумажку сыщику; прибавляя:—Я видел, как они выбросили письмо на мостовую, и поднял его.

Наступили теперь томительные часы ожидания прокурора. Представитель судебной власти играет, как известно, роль подставного лица в руках жандармов. Они выставляют его, чтобы придать тень законности обыскам и допросам. Прошло не мало времени, покуда разыскали прокурора и привезли его, чтобы он фигурировал будто бы в виде представителя законности. Меня опять повезли на мою квартиру, где был произведен самый тщательный обыск, продлившийся до трех часов утра. Жандармы не нашли однако ни клочка бумаги, который мог бы явиться уликой против меня или кого-нибудь другого.

После обыска меня доставили в Третье отделение, которое правило и правит под различными именами Россией со времен Николая I вплоть до настоящего времени и составляет истинное государство в государстве. Родоначальником его был при Петре I Преображенский приказ, в котором противники основателя военной русской империи подвергались жестоким пыткам и бывали замучиваемы до смерти. При императрицах „приказ" преобразовался в „Тайную канцелярию". А при Анне Иоанновне застенок жестокого Бирона нагонял ужас на всю Россию. Железный деспот Николай I преобразовал канцелярию в „Третье отделение" и присоединил к нему корпус жандармов, причем шеф жандармов стал лицом более страшным в России, чем сам император.

Вскоре после того, как Мезенцев был убит, — при Лорис-Меликове,—Третье отделение было уничтожено по имени; но, как феникс, оно возродилось и еще более прошлого расцвело под новыми вывесками. В каждой губернии, в каждом городе, даже на каждой железнодорожной станции находятся жандармы, доносящие непосредственно своим полковникам или генералам, которые сносятся с шефом жандармов. Последний же видит царя каждый день и докладывает ему, что считает нужным доложить. Все чиновники в империи находятся под надзором жандармов. Генералы и полковники этого корпуса следят по обязанности за общественной и частной жизнью всех царских подданных, в том числе губернаторов, министров и даже великих князей. Сам император находится под их бдительным надзором. И так как они хорошо осведомлены о секретных делишках дворца и знают каждый шаг императора, то шеф жандармов становится, так сказать, наперсником правителей России в их наиболее интимных делах.

В тот период царствования Александра II, о котором я говорю, Третье отделение было всесильно. Жандармские полковники производили обыски тысячами, ничуть не заботясь о том, есть ли в России суды и законы или нет. Они арестовывали, кого хотели, держали в тюрьме, сколько им было угодно, и сотни

людей отправлялись в ссылку в северную Россию или в Сибирь по усмотрению какого-нибудь полковника или генерала. Подпись министра внутренних дел была только пустой формальностью, потому что у него не было контроля над жандармами, и он даже не знал, что они делают.

Было уже четыре часа утра, когда начался допрос.

— Вы обвиняетесь, — заявили мне торжественно,— в принадлежности к тайному сообществу, имеющему цель ниспровергнуть существующую форму правления, и в заговоре против священной особы его императорского величества. Признаете ли вы себя виновным в этих преступлениях?

— До тех пор, покуда я не буду пред гласным судом, я не дам вам никакого ответа,—сказал я.

— Запишите,—продиктовал прокурор секретарю:— не признает себя виновным. Я должен вам задать еще некоторые вопросы,—начал он после короткой паузы.— Знаете ли вы некоего Николая Чайковского?

— Если вы все-таки желаете задавать мне вопросы на ваших допросах, то так и пишите „нет“ на все те, которые вы мне будете задавать.

— Ну, а если мы спросим, знакомы ли вы, например, с г. Поляковым, о котором вы говорили прокурору несколько минут тому назад.

— Если вы зададите мне такой вопрос, то пишите „нет“. И если вы спросите меня, знаком ли я с сестрой, братом или мачехой, — пишите тоже „нет“. Никакого другого ответа вы от меня не получите. Я знаю, если отвечу „да“ по отношению к какому-нибудь лицу, вы тотчас же учините ему крупную неприятность, нагрянете с обыском или сделаете что-нибудь-похуже. А потом скажете ему, что я его выдал.

Мне предложили тогда длинный список вопросов и каждый раз я спокойно отвечал: „запишите — н е т“. Так продолжалось около часа. И из допроса я мог убедиться, что все арестованные, кроме двух ткачей, держали себя очень хорошо. Ткачи же знали только, что я раза два встречался с десятком работников. Жандармы, повидимому, ничего не знали о нашем кружке...

— Что вы делаете, князь?—сказал мне жандармский офицер, который отводил меня в пятом часу ночи в мою камеру.—Вашим отказом отвечать на вопросы воспользуются как страшным оружием против вас же.

— Разве это не мое право?

— Да, но... вы знаете... Надеюсь, вы найдете комнату удобной. Ее топят с момента вашего ареста.

Я нашел ее очень удобной и немедленно крепко заснул. Разбудил меня через несколько часов жандарм, который принес мне чай. За ним скоро явилось другое лицо, которое шепнуло мне неожиданно:—Вот бумага и карандаш; пишите вашу записку.—Это был сочувствовавший, которого я знал по имени. Через него велась наша переписка с арестованными в Третьем отделении.

Со всех сторон я слышал легкий стук в стены. То переговаривались условным образом арестованные. Но так как я был новичок, то не мог разобраться в этом стуке, который, казалось, исходил из стен со всех сторон.

Одно смущало меня. Когда производили у меня обыск, я слышал, как прокурор шепнул жандармскому офицеру о том, что они поедут с обыском к Полякову, к которому было адресовано письмо Дмитрия. Поляков был молодой студент, очень талантливый зоолог и ботаник, с которым мы вместе свершили витимскую экспедицию. Родился он в бедной казачьей семье на границе Монголии. Преодолев всевозможные затруднения, Поляков перебрался в Петербург и поступил в университет, где стал известен как зоолог, подававший большие надежды. В это время он сдавал кандидатский экзамен. Со времени долгого путешествия мы были большими друзьями и даже одно время жили в Петербурге вместе. Но Поляков не интересовался моею политическою деятельностью.

Я заговорил о нем с прокурором:—Даю вам честное слово,—сказал я:—что Поляков никогда не принимал участия ни в каких политических делах. Завтра у него последний экзамен. Вы разрушите навсегда ученую деятельность молодого человека, который боролся много

лет и должен был преодолеть большие препятствия, чтобы добиться настоящего положения. Я знаю, до всего этого вам дела нет; но университет смотрит на Полякова, как на будущую славу русской науки.

Обыск тем не менее сделали у Полякова, но его не арестовали и дали отсрочку на три дня для экзамена. Несколько дней спустя меня вызвали к прокурору, который с сияющим видом показал мне конверт, надписанный моею рукой, а в нем записку, тоже моей рукой, в которой говорилось: „Пожалуйста, передайте этот пакет В. Е. и попросите хранить, покуда его потребуют установленным образом". Лицо, к которому записка была адресована, в ней не упоминалось.

— Это письмо найдено у г-на Полякова, — сказал прокурор. — И теперь, князь, его судьба в ваших руках. Если вы мне скажете, кто такой „В. Е.", мы сейчас же освободим г-на Полякова; в противном случае, мы его будем держать, покуда он нам не назовет упомянутое лицо.

Взглянув на конверт, который был надписан тушевальным карандашом, и на записку, написанную обыкновенным, я немедленно вспомнил все обстоятельства относительно письма и конверта.

— Я положительно утверждаю,—сказал я:—что конверт и записка не найдены вместе. Это вы вложили письмо в конверт.

Прокурор покраснел.

— Неужели вы уверите меня,—продолжал я:—что вы, практический человек, не заметили, что записка и конверт написаны разными карандашами? И теперь вы меня хотите уверить, что все это—одно целое. Нет, милостивый государь, я заявляю вам, что письмо было адресовано не к Полякову.

Замешательство прокурора продолжалось несколько секунд, затем он оправился и с прежним апломбом сказал:

— Поляков, однако, сознался, что ваша записка была к нему.

Теперь я знал, что прокурор лжет. Поляков мог бы еще признать все, касающееся его самого; но он ско-

рее пошел бы в Сибирь, чем оговорил бы другого. Я посмотрел пристально в глаза прокурору и ответил:

— Нет, милостивый государь, Поляков никогда не говорил вам ничего подобного. Вы сами отлично знаете, что говорите неправду.

Прокурор пришел в бешенство или притворился так.

— Хорошо,—отрезал он:—если вы подождете здесь несколько минут, я вам принесу письменное показание г-на Полякова. Он в соседней комнате.

— С удовольствием буду ждать, сколько вам угодно.

Я уселся на диване и стал курить бесконечное число папирос. Показание однако не явилось, ни в этот день ни позже, и впоследствии каждый раз, при встрече с прокурором, я дразнил его вопросом:

— Ну, а где же показание Полякова?

Само собою разумеется, никакого такого показания не существовало. Я встретился с Поляковым в Женеве, в 1878 году, откуда мы сделали необыкновенно приятную экскурсию к Алечскому леднику. Нечего и прибавлять, что Поляков ответил именно так, как я ожидал. Он сказал, что решительно ничего не знает как о письме, так и о лице, упомянутом под литерами „В. Е.“. Мы обменивались с ним десятками книг; записку нашли в одной из них. Что же касается конверта, то его извлекли из кармана старого пальто. Полякова продержали в заключении несколько недель, а затем выпустили благодаря ходатайству его ученых друзей. Полиция так и не дозналась, кто такое было лицо „В. Е.“. Оно в свое время выдало, кому нужно, все мои бумаги.

Меня не повели обратно в камеру, а через несколько времени возвратился прокурор в сопровождении жандармского офицера.

— Ваш допрос теперь окончен,—сказал он мне.—Вас переведут в другое место.

У ворот стояла карета. Меня пригласили войти в нее, а рядом сел дюжий жандармский офицер, кавказец родом. Я заговорил с ним, но он только сопел. Карета проехала Цепной мост, Марсово Поле, затем покатилась вдоль каналов, как будто бы избегая наиболее людные улицы.

— Мы едем в Литовский замок?—спросил я офицера, так как знал, что многие товарищи сидят уже там. Офицер не ответил. С того момента, как я сел в карету, началась та система молчания по отношению ко мне, которая применялась потом целые два года. Но когда карета покатилась по Дворцовому мосту, я понял, что меня везут в Петропавловскую крепость.

Я любовался рекой-красавицей, зная, что не скоро увижу ее опять. Солнце близилось к закату. Тяжелые серые тучи нависли на западе над Финским заливом; прямо над головой плыли белые облака, разрываясь порой и открывая клочки голубого неба. Карета повернула налево. Мы въехали под мрачный свод, в ворота крепости.

— Ну, теперь меня продержат здесь годика два,— сказал я офицеру.

— Нет, зачем же так долго! — ответил кавказец, который, раз мы добрались до крепости, снова приобрел дар слова.—Дело ваше почти кончено, и недели через две его передадут в суд.

— Дело мое очень простое,—сказал я:—но прежде чем вы предадите меня суду, вы захотите арестовать всех социалистов в России, а их много, очень много, и в два года вы всех не переловите.—Я тогда не сознавал, как много пророческого было в этом предсказании.

Карета остановилась у подъезда комендантской квартиры. Мы вошли в приемную. К нам вышел генерал Корсаков, высокий старик с брюзгливым выражением лица. Жандармский офицер шепнул ему что-то на ухо, и старик ответил „хорошо", окинув его почти презрительным взглядом; затем он повернулся ко мне. Видно было, что комендант вовсе не был доволен получением нового квартиранта и несколько стыдился своей обязанности; но взгляд его как будто бы говорил: „я солдат и исполняю только долг". Мы опять сели в карету, но скоро остановились у других ворот; здесь нас продержали некоторое время, покуда солдаты не отперли их изнутри. Всякими длинными, узкими проходами мы подошли наконец к третьим железным во-

ротам; они вели под темный свод, из которого мы попали в небольшую комнату, где тьма и сырость сразу охватили меня.

Несколько унтер-офицеров крепостной стражи забегали неслышно в своих войлочных ботиках, не говоря ни слова, покуда смотритель расписывался в книге кавказца в приеме арестанта. Мне велели раздеться совершенно и надеть арестантское платье: зеленый фланелевый халат, бесконечные шерстяные чулки, плотности невероятной, и желтые туфли такой величины, что они едва держались на ногах, когда я попробовал ступить шаг. Я всегда ненавидел халаты и туфли. Толстые чулки внушали мне отвращение. Меня заставили даже снять шелковую фуфайку, которая особенно была бы кстати в сырой крепости. Я, конечно, шумно запротестовал по этому поводу, и через час мне ее отдали по распоряжению генерала Корсакова.

Затем меня повели темным коридором, по которому шагали часовые, и ввели в одиночную камеру. Захлопнулась тяжелая дубовая дверь, щелкнул ключ в замке, и я остался один в полутемной комнате.

Побег.

I.

Итак, я в Петропавловской крепости, где за последних два века гибли лучшие силы России. Самое ее имя в Петербурге произносится вполголоса.

Здесь Петр I пытал своего сына Алексея и убил его собственной рукой. Здесь, в каземате, куда проникла вода во время наводнения, была заключена княжна Тараканова. Крысы, спасаясь от потопа, взбирались на ее платье. Здесь ужасный Миних пытал своих политических противников, а Екатерина II заживо похоронила тех, кто возмущался убийством ее мужа. И со времен Петра I, в продолжение ста семидесяти лет, летописи этой каменной громады, возвышающейся из Невы против Зимнего дворца, говорят только об убийствах, пытках, о заживо погребенных, осужденных на медленную смерть или же о доведенных до сумасшествия в одиночных, мрачных, сырых казематах.

Здесь перетерпели начальные стадии своей мученической жизни декабристы, первые развернувшие у нас знамя республики и уничтожения крепостного права. Следы их до сих пор можно еще найти в русской Бастилии. Здесь были заключены Рылеев, Шевченко, Достоевский, Бакунин, Чернышевский, Писарев и много других из наших лучших писателей. Здесь пытали и повесили Каракозова.

Здесь, где-то в Алексеевском равелине, сидел еще Нечаев, выданный Швейцарией как уголовный, но с которым обращались как с опасным политическим преступником. Ему уже не суждено было больше увидать свободу. В том же равелине, гласила молва,

сидело несколько человек, заключенных на всю жизнь по приказу Александра II за то, что они знали дворцовые тайны, которых другие не должны были знать. Одного из них, старика с длинной бородой, видел в таинственной крепости один из моих знакомых.

Все эти тени восставали в моем воображении; но мои мысли останавливались в особенности на Бакунине, который, хотя и просидел два года на цепи, прикованный к стене, в австрийской крепости после 1848 года, и потом, выданный русскому правительству, прожил еще шесть лет в Алексеевском равелине, — вышел, однако, из тюрьмы, после смерти железного деспота, более энергичным, чем многие его товарищи, которые все это время пробыли на свободе. „Он выжил все это,—говорил я самому себе,—так и я не поддамся тюрьме".

Первым движением моим было подойти к окну. Оно было прорезано в виде широкого, низкого отверстия в двухаршинной толстой стене, на такой высоте, что я едва доставал до него рукой. Оно было забрано двумя железными рамами со стеклами и, кроме того, решеткой. За окном, саженях в пяти, я видел пред собою внешнюю крепостную стену необыкновенной толщины; на ней виднелась серая будка часового. Только глядя вверх, мог я различить клочок неба.

Я тщательно осмотрел камеру, в которой, быть может, мне предстояло провести несколько лет. По положению высокой трубы Монетного двора я догадался, что моя комната находится в юго-западном углу крепости, в бастионе, выходящем на Неву. Здание, в котором я сидел, было, однако, не бастион, а то, что в фортификации называют р е д ю и т, то есть внутреннее, пятиугольное, двухэтажное каменное здание, поднимающееся несколько над стенами бастиона и заключающее два этажа пушек. Моя комната была казематом, предназначавшимся для большой пушки, а окно— его амбразура. Солнечные лучи никогда не проникали туда. Даже летом они терялись в толщине стены. Меблировку составляли: железная кровать, дубовый столик и такой же табурет. Пол был покрыт густо закрашенным войлоком, а стены оклеены желтыми

обоями. Чтобы заглушить звуки, обои были, однако, наклеены не непосредственно на стену, а на полотно, под которым я открыл проволочную сетку, а за ней слой войлока. Только под ним мне удалось нащупать камень. У внутренней стены стоял умывальник. В толстой дубовой двери было прорезано запиравшееся квадратное отверстие, чтобы подавать через него пищу, и продолговатый глазок со стеклом, закрывавшийся с наружной стороны маленькою заслонкою. Через этот глазок часовой, стоявший в коридоре, мог видеть во всякое время, что делает заключенный. Действительно, он часто поднимал заслонку глазка, причем сапоги его жестоко скрипели всякий раз, как он по-медвежьи подкрадывался к моей двери. Я пробовал заговорить с ним; но тогда глаз, который я видел сквозь стеклышко, принимал выражение ужаса, и заслонка немедленно опускалась. И через минуту или две я опять слышал скрип, но никогда я не мог добиться ни слова от часового. Кругом царила глубокая тишина. Я придвинул скамейку к окну и стал смотреть на клочок неба. Тщетно старался я уловить какой-нибудь звук с Невы или из города на противоположном берегу. Мертвая тишина начинала давить меня. Я попробовал петь, вначале тихо, потом громче и громче: „Ужели мне, во цвете лет, любви сказать: прости навек“,—пел я из „Руслана и Людмилы“.

— Господин, не извольте петь!—раздался густой бас из-за двери.

— Я хочу петь и буду.

— Петь не позволяется,—басил солдат.

— А я все-таки буду.

Тогда явился смотритель, начавший убеждать меня, что я не должен петь, так как об этом он вынужден будет доложить коменданту крепости и так далее.

— Но у меня засорится горло, и легкие отучатся действовать, если я не буду ни говорить ни петь,— пробовал убеждать я.

— Уж вы лучше пойте вполголоса, про себя,—просил старый смотритель.

Но в просьбе не было надобности. Через несколько дней у меня пропала охота петь. Я пробовал было

продолжать пение из принципа, но это ни к чему не повело.

„Самое главное, — думал я, — сохранить физическую силу. Я не хочу заболеть. Нужно себе представить, что предстоит провести несколько лет на севере, во время полярной экспедиции. Буду делать много движения, гимнастику,—не надо поддаваться обстановке. Десять шагов из угла в угол уже не худо. Если пройти полтораста раз,—вот уже верста. И я решил делать ежедневно по семи верст: две версты утром, две перед обедом, две после обеда и одну перед сном. Если положить на стол десять папирос и передвигать одну, проходя мимо стола,—думал я,—то легко сосчитаю те триста раз, что мне надо пройти взад и вперед. Ходить надо скоро, но поворачивать в углу медленно, чтобы голова не закружилась, и всякий раз в другую сторону. Затем, дважды в день, буду проделывать гимнастику с моей тяжелой табуреткой". Я поднимал ее за ножку и держал в вытянутой руке, затем вертел ее колесом и скоро научился перебрасывать ее из одной руки в другую через голову, за спиной и между ногами.

Через несколько часов после того, как меня привезли, явился смотритель и предложил кое-какие книги. Между ними были старые знакомые, как „Физиология обыденной жизни" Льюиса; но второй том, который мне особенно хотелось прочитать снова, — куда-то затерялся. Я попросил, конечно, письменные принадлежности, но мне наотрез отказали. Перья и чернила никогда не выдаются в крепости иначе как по специальному разрешению самого царя. Я, конечно, сильно страдал от вынужденной бездеятельности и начал сочинять в памяти ряд повестей для народного чтения, на сюжеты, заимствованные из русской истории, — нечто в роде „Mystères du peuple" Евгения С. Самую идею мне подали „Очерки из истории рабства", которые я прочел в одной из старых книжек „Дела". Я придумывал фабулу, описания, диалоги и пробовал запомнить все от начала до конца. Можно себе представить, как изнурила бы мозг подобная работа, если бы я ее продолжал дольше, чем два или три месяца.

Брат Александр, однако, выхлопотал для меня разрешение иметь письменные принадлежности. Раз как-то меня опять пригласили сесть в карету, рядом со старым знакомым, бессловесным жандармом-кавказцем, и повезли в Третье отделение. Там мне дали свидание с братом, в присутствии двух жандармских офицеров.

Когда меня арестовали, Александр был в Цюрихе. С ранней юности он стремился за границу, где люди могут думать, как хотят, читать, что хотят, и могут открыто высказывать свои мысли. Русскую жизнь он ненавидел. Главной чертой его характера была глубокая искренность и прямодушие. Он не выносил обмана в какой бы то ни было форме. Отсутствие свободы слова в России, русская готовность подчиниться деспотизму, „эзоповский язык", к которому прибегают русские писатели, — все это до крайности было противно его открытой натуре. Вскоре после моего возвращения из-за границы Александр уехал в Швейцарию и намеревался поселиться там. После того как он потерял одного ребенка, скончавшегося в несколько часов от холеры, а другого — от чахотки, Петербург стал ему вдвое более ненавистен.

Брат не принимал никакого участия в нашей агитационной работе. Он не верил в возможность народного восстания и революцию понимал только как деятельность выборных от народа, как, например, Национального собрания в 1789 году. Что же касается социалистической агитации, он признавал ее только, когда она ведется на открытых митингах, с публичных платформ, а не тайную, кропотливую, личную пропаганду, которой мы занимались. В Англии Александр был бы сторонником Джона Брайта или чартистов. Если бы он жил в Париже во время июньского восстания 1848 года, он, наверное, дрался бы с последней горстью работников за последней барикадой. Но в подготовительном периоде он шел бы за Луи Бланом или Ледрю-Роллэном.

В Швейцарии брат поселился в Цюрихе. Его симпатии лежали на стороне умеренного крыла Интернационала. По принципам он был социалист и согласно этим принципам вел необыкновенно умеренную и не-

обыкновенно трудолюбивую жизнь. Он работал над большим ученым трудом, который составлял главную цель его жизни и должен был явиться дополнением к знаменитой „Système de la nature“ Гольбаха. Александр скоро сильно подружился с П. Л. Лавровым, с которым имел много общего по склонности к кантовской философии.

Узнав о моем аресте, Александр немедленно оставил все,—труд всей жизни, свободу, которая была ему так же необходима, как птице воздух, и возвратился в ненавистный ему Петербург, чтобы помочь мне в моем заключении.

Мы оба сильно были взволнованы свиданием. Брат был страшно возбужден. Самый вид голубых мундиров—этих палачей всякой независимой мысли в России—был ему ненавистен, и он выражал свои чувства открыто в их присутствии. Во мне же пребывание Александра в Петербурге вселяло самые мрачные предчувствия. Я был счастлив, что снова увидал его честное лицо, его глаза, полные любви; меня бесконечно обрадовало, когда я узнал, что свидания у нас будут каждый месяц. А между тем мне хотелось бы, чтобы он был за тысячи верст от этого жандармского логовища, куда он пришел сегодня по своей воле, но куда его неминуемо привезут когда-нибудь ночью под конвоем.

„Зачем ты здесь? Уезжай немедленно!“ — кричало ему мое внутреннее „я“. И в то же время я сознавал, что брат не уедет, покуда меня будут держать в тюрьме.

Он лучше, чем кто-либо другой, понимал, что бездеятельность убьет меня, и потому уже стал хлопотать о разрешении для меня продолжать работу. Географическое общество желало, чтобы я закончил мою книгу о ледниковом периоде. Брат растормошил весь ученый Петербург, чтобы добиться поддержки. Академия наук была заинтересована в этом деле. Наконец, через два или три месяца после моего ареста, ко мне в камеру вошел смотритель и сообщил, что царь разрешил мне окончить доклад для Географического общества и поэтому мне будут выдавать письменные

принадлежности; „но только до заката солнца“,—прибавил он. Солнце зимой в Петербурге закатывается в три часа. Но делать было нечего. „До заката“,—так выразился Александр II, давая позволение.

II.

Итак, я мог снова работать.

Трудно было бы выразить, какое облегчение я почувствовал, когда снова мог писать. Я согласился бы жить на хлебе и воде, в самом сыром подвале, только бы мне разрешили работать.

Я был, однако, единственный заключенный в крепости, которому разрешили письменные принадлежности. Некоторые из моих товарищей, которые провели в заключении три года и даже больше, до знаменитого процесса ста девяноста трех [1], — имели только грифельные доски. Конечно, в страшном уединении крепости они рады были даже доске и исписывали ее словами изучаемого иностранного языка или математическими формулами. Но каково писать, зная, что все будет стерто через несколько часов!

Моя тюремная жизнь приняла теперь более правильный характер. Было нечто, непосредственно наполнявшее жизнь. К девяти часам утра я уже кончал мои первые две версты и ждал, покуда мне принесут карандаши и перья. Работа, которую я приготовил для Географического общества, содержала, кроме отчета о моих исследованиях в Финляндии, еще обсуждение основ ледниковой гипотезы. Зная теперь, что у меня много времени впереди, я решил вновь написать и расширить этот отдел. Академия наук предоставила в мое распоряжение свою великолепную библиотеку. Вскоре целый угол моей камеры заполнился книгами и картами, включая сюда полное издание шведской

---

[1] По делу о „хождении в народ“ было арестовано свыше тысячи человек. Суду особого присутствия сената было передано 193 человека. Процесс тянулся с 18 октября 1877 г. по 23 января 1878 г. Часть подсудимых (Мышкин, Войнаральский, Кованик, Рогачев, Синегуб, Шишко и др.) были приговорены к каторге. Ред.

геологической съемки, почти полную коллекцию отчетов всех полярных путешествий и полное издание „Quarterly journal“ лондонского Геологического общества. Моя книга в крепости разрослась в два больших тома. Первый из них был напечатан братом и моим другом Поляковым (в записках Географического общества); второй же, не совсем оконченный, остался в Третьем отделении после моего побега. Рукопись нашли только в 1895 году и передали Русскому географическому обществу, которое и переслало ее мне в Лондон. В пять часов вечера, а зимой в три, как только вносили крошечную лампочку, перья и карандаши у меня отбирались, и я должен был прекращать работу. Тогда я принимался за чтение главным образом книг по истории. Ряд поколений политических заключенных оставил после себя в Петропавловской крепости целую библиотеку, и мне разрешили прибавить к ней несколько капитальных сочинений по русской истории. Кроме того родственники присылали мне много книг. Таким образом я мог познакомиться почти со всеми книгами и сборниками документов, относящимися к московскому периоду русской истории. Я с наслаждением читал не только летописи, в особенности превосходную вторую псковскую летопись, богатую живыми подробностями об общественном быте русской демократической средневековой республики (по всей вероятности, это лучшая хроника в Европе для изучения средневековых городов), но я перечитал также много самых сухих документов и даже „Жития святых“, где случайно вкраплены подробности о жизни масс, каких нельзя найти в других источниках. Прочел я также много романов и даже устроил себе род праздника в сочельник. Мои родные прислали мне тогда рождественские рассказы Диккенса. И весь праздник я то смеялся, то плакал над этими чудными произведениями великого романиста.

III.

Хуже всего было гробовое молчание, царившее кругом. Напрасно стучал я в стены, топал ногой о пол и прислушивался, не раздастся ли в ответ хоть слабый

звук, но ничего не было слышно. Прошел месяц, затем два, три, потом год,—ответа на мой стук не было: нас, в тридцати шести казематах было только шесть человек, и звуки не доходили от одного к другому. Остальные товарищи сидели в Литовском замке. Когда я спрашивал унтер-офицера, входившего ко мне, чтобы вести меня на прогулку: „Какова погода?—дождя нет?“ он искоса окидывал меня взглядом и скрывался за дверьми, где караулил его другой унтер-офицер. Единственным живым существом, от которого я мог, порой, слышать несколько слов, был смотритель, входивший каждое утро в мою камеру, чтобы спросить, не нужно ли купить табаку или бумаги. Я пытался завязать с ним разговор; но смотритель тоже робко оглядывался на унтер-офицера, стоявшего в полуоткрытых дверях. Лицо его будто говорило: „Вы видите, меня так же сторожат“. Только одни голуби не боялись меня. Каждое утро и после обеда они слетались к моему окну, чтобы получить корм, который я им бросал сквозь решетку.

Никакие звуки не долетали до меня, кроме скрипа шагов часового, едва слышного шороха заслонки в глазке да перезвона курантов на колокольне крепостного собора. Каждую четверть часа они играют „Господи помилуй“, раз, два, три, четыре раза. Затем большой колокол отбивает протяжно, с большими промежутками между каждым ударом, часы. И тогда начинается жалобный перезвон курантов, которые при каждой внезапной перемене погоды расстраиваются, и из гимна „Коль славен“ получается ужасная какофония, напоминающая звон на погребенье. В глухую полночь после „Коль славен“ куранты играют еще „Боже царя храни“. Перезвон продолжается тогда почти целую четверть часа. И едва только он прекращается, как новое „Господи помилуй“ возвещает не могущему заснуть заключенному, что прошло опять четверть часа его бесполезной жизни и что не мало еще подобных четвертей, получасов и дней и месяцев растительной жизни пройдут, покуда освободят его тюремщики или же смерть.

Каждое утро меня выводили на прогулку, на полчаса, в тюремный двор, — небольшой пятиугольник

с узким тротуаром вдоль стен и с баней посередине. но я любил эту прогулку. Потребность новых впечатлений в тюрьме так велика, что на прогулке я всегда не сводил глаз с золотого шпица крепостного собора. Из всего окружающего меня только эта игла менялась, и я любил наблюдать эти перемены. Она то сверкала как чистое золото в ясный день, то принимала при голубом небе сказочный вид, когда легкая голубая дымка тумана висела над городом, то казалась отлитой из серой стали в пасмурный день.

Во время этих прогулок я иногда видел дочь смотрителя, девушку лет восемнадцати или девятнадцати. Когда она выходила из квартиры отца, ей приходилось сделать несколько шагов по тюремному дворику, чтобы добраться до ворот, составляющих единственный выход. Она всегда спешила, потупив глаза, как будто стыдилась тем, что была дочерью тюремщика. Напротив, младший брат ее, кадет, которого я встретил раза два во дворе, всегда прямо смотрел мне в глаза с таким выражением симпатии, что это поразило меня, и я упомянул даже кому-то об этом после побега. Четыре или пять лет спустя, когда юноша был уже офицером, его арестовали и сослали в Восточную Сибирь, в Тунку. Он присоединился к партии Народной воли, и, кажется, помогал переписке между революционерами и заключенными в крепости.

Петербургская зима мрачна для тех, которые не могут выйти на ярко освещенные улицы. В каземате она, конечно, еще мрачнее. Но сырость донимала еще больше, чем мрак. Казематы так сыры, что их приходилось очень жарко натапливать для просушки. Я почти задыхался от жары. Но, когда я добился, чтобы не так нажаривали печь, стены стали потеть от сырости. Обои приняли такой вид, как будто их каждый день окачивали ведром воды. И в результате я сильно страдал от ревматизма.

Несмотря на все это, я не унывал, писал и чертил карты в полумраке, чиня карандаши осколком стекла, которым раздобылся во дворе. Я неизменно ходил каждый день мои семь верст из угла в угол и проделывал гимнастические упражнения моим дубовым

табуретом. Время шло. Но вот в мой каземат вползло горе, которое почти сломило меня. Брата Александра арестовали.

В конце декабря 1874 года мне дали в крепости, в присутствии жандармского офицера, свидание с братом и сестрой Еленой. Свидания, даваемые через долгие промежутки, всегда приводят заключенных и их родных в состояние сильного возбуждения. Арестованный видит дорогие ему лица, слышит милые голоса и знает, что все это исчезнет через несколько минут. Он чувствует себя так близко и в то же время так далеко от них, так как интимной беседы не может быть в присутствии постороннего человека, врага и шпиона. Притом брат и сестра сильно тревожились за мое здоровье, на которое темные мрачные зимние дни и сырость уже начинали оказывать влияние. Мы расстались с тяжелым сердцем.

Через неделю после этого свидания, вместо ожидаемого письма от брата с сообщением о печатании моей книги, я получил короткую записку от Полякова. Он уведомлял меня, что с этих пор корректуру будет читать он, и поэтому я должен сноситься с ним обо всем, касающемся печатанья. Я тотчас же понял, что с братом случилось недоброе. Если бы он заболел, Поляков так и написал бы. Для меня наступили теперь тяжелые дни. Александра наверно заарестовали, и я—причина этому. Жизнь утратила для меня всякий смысл. Прогулки, гимнастика, работа потеряли всякий интерес. Весь день я бесцельно шагал взад и вперед по камере и не мог думать ни о чем другом, как только об аресте брата. Для меня, одинокого человека, заключение означало только личное неудобство, но Александр был женат, страстно любил жену и имел теперь сына, на которого не мог надышаться. Родители сосредоточили на этом мальчике всю ту любовь, которую питали к двум детям, умершим три года тому назад.

Хуже всего была неизвестность. Что такое мог он сделать? Почему его арестовали? К чему они его присудят? Проходили недели. Моя тревога усиливалась; новостей не было никаких. Наконец окольным путем

я узнал, что Александра арестовали за письма к П. Л. Лаврову.

Подробности я узнал гораздо позже. После свидания со мной Александр написал своему старому приятелю Петру Лавровичу, издававшему в то время в Лондоне „Вперед". В письме он выражал свое беспокойство по поводу моего здоровья, говорил о многочисленных арестах и открыто высказывал свою ненависть к русскому деспотизму. Третье отделение перехватило письма на почте и послало, как раз в сочельник, произвести обыск у брата, что жандармы и выполнили, даже с еще большей грубостью, чем обыкновенно. После полуночи полдюжины людей ворвались в его квартиру и перевернули вверх дном решительно все. Они ощупывали стены и даже больного ребенка вынули из постели, чтобы обшарить белье и матрац. Они ничего не нашли, да и нечего было находить. Мой брат был сильно возмущен этим обыском. С обычной откровенностью он заявил жандармскому офицеру, производившему осмотр: „Против вас, капитан, я не могу питать неудовольствия; вы получили такое ничтожное образование, что едва понимаете, что творите. Но вы, милостивый государь,—обратился он к прокурору,—вы знаете, какую роль играете во всем этом. Вы получили университетское образование, вы знаете закон и знаете, что попираете сами закон, какой он ни на есть, и прикрываете вашим присутствием беззаконие вот этих людей. Вы, милостивый государь, попросту мерзавец".

Они возненавидели брата и продержали и его в Третьем отделении до мая. Ребенок Александра, прелестный мальчик, которого болезнь сделала еще более нежным и умным, умирал от чахотки. Доктора сказали, что ему остается жить всего несколько дней. Брат, никогда не хлопотавший у врагов ни о какой милости, просил разрешить ему повидаться в последний раз с ребенком; он просил отпустить его на полчаса домой, на честное слово или под конвоем. Ему не разрешили. Жандармы не могли отказать себе в этой мести.

Ребенок умер. Мать его снова чуть не погибла от нервного удара. В это время брату объявили, что его

сошлют в Минусинск—повезут его туда в кибитке с двумя жандармами, а что касается жены, то она может следовать потом, но не должна ехать теперь, вместе с мужем.

— Скажите же мне наконец, в чем мое преступление?—требовал брат. Но никаких обвинений, кроме письма, против Александра не было. Ссылка казалась всем таким произволом, она до такой степени была актом личной мести со стороны Третьего отделения, что никто из наших родственников не допускал, чтобы она могла продолжаться больше, чем несколько месяцев. Брат подал жалобу министру внутренних дел. Тот ответил, что не может вмешиваться в постановление шефа жандармов. Подана была другая жалоба сенату, и тоже без последствий.

Года два спустя, по собственной инициативе, наша сестра Елена подала прошение царю. Мой двоюродный брат Дмитрий, харьковский генерал-губернатор и флигель-адъютант Александра II, большой фаворит при дворе, лично вручил прошение, прибавив несколько слов от себя. Он был глубоко возмущен действием Третьего отделения. Но мстительность составляет фамильную черту Романовых, и в Александре II она была особенно развита. На прошение царь ответил:—Пусть посидит!—Брат пробыл в Сибири двенадцать лет и никогда уже не возвратился в Россию [1].

IV.

Бесчисленные аресты, произведенные летом 1874 г., и тот серьезный характер, который полиция придала намерениям нашего кружка [2], произвели глубокую перемену в воззрениях русской молодежи. До тех пор главной ее задачей было выбирать из рабочих, а также иногда из крестьян, отдельных людей, чтобы подготовлять из них социалистических агитаторов. Но теперь фабрики были наводнены шпионами, и стало очевидно, что во всяком случае и пропагандистов и рабочих

---

[1] А. А. Кропоткин в 1881 г. застрелился в Томске.
[2] Кружок „чайковцев". См. предисловие. Ред.

скоро заберут и навсегда упрячут в Сибирь. Тогда великое движение „в народ" приняло новый характер. Сотни молодых людей, пренебрегая всеми предосторожностями, которые принимались до тех пор, устремились в провинцию. Странствуя по городам и деревням, они подстрекали народ к бунту и почти открыто распространяли революционные брошюры, песни и прокламации. В наших кружках это время прозвали „безумным летом".

Жандармы потеряли голову. Нехватало рук, чтобы ловить, и глаз, чтобы выслеживать каждого революционера в его хождении из губернии в губернию. Тем не менее около 1 500 человек было арестовано во время этой великой травли, и половину их продержали в тюрьмах несколько лет.

Результаты массовых арестов скоро почувствовались и у нас, в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Он начал заселяться вновь прибывающими узниками.

Раз, летом 1875 года, я ясно расслышал в соседней с моей камерой, легкий стук каблуков, а несколько минут спустя я уловил и отрывки разговора. Женский голос слышался из каземата, а в ответ ворчал густой бас, должно быть, часового. Вскоре вслед за тем послышался звон шпор полковника, поспешные его шаги, ругательство по адресу часового и щелканье ключа в замке. Полковник сказал что-то.

— Мы вовсе не разговаривали,—раздался в ответ женский голос.—Я просила только позвать унтер-офицера, а часовой отказывался.—Дверь опять заперли, и я слышал, как полковник вполголоса честил часового.

Итак, я был уже не один. У меня была соседка, которая сразу нарушила строгую дисциплину, связывавшую до тех пор солдат. С этого дня крепостные стены, которые были немы пятнадцать месяцев, ожили. Со всех сторон я слышал стук ногой о пол: один, два, три, четыре... одиннадцать ударов, двадцать четыре удара, пятнадцать. Затем пауза; после нее—три удара и долгий ряд тридцати трех ударов. В том же порядке удары повторялись бесконечное число раз, покуда

сосед догадывался, что они означают вопрос: „Кто вы?“ Таким образом, „разговор“ завязывался и велся затем по сокращенной азбуке, придуманной еще декабристом Бестужевым. Азбука делится на шесть рядов, по пяти букв в каждой. Каждая буква отмечается своим рядом и своим местом в ряду.

К великому моему удовольствию я открыл, что с левой стороны сидел мой друг Сердюков, с которым мы вскоре могли перестукиваться обо всем,—в особенности, употребляя наш шифр. Однако беседы с людьми в тюрьме приносят не только свои радости, но и свои горести. Подо мной сидел крестьянин, знакомый Сердюкова, с которым он перестукивался. Против моей воли, часто даже во время работы, я следил за их переговариванием. Я тоже перестукивался с ним. Но, если одиночное заключение, без всякой работы, тяжело для интеллигентных людей, то гораздо более невыносимо оно для крестьянина, привыкшего к физическому труду и совершенно неспособного читать весь день под-ряд. Наш приятель-крестьянин чувствовал себя очень несчастным. Его привезли в крепость после того, как он просидел уже два года в другой тюрьме, и поэтому он был уже надломлен. Преступление его состояло в том, что он слушал социалистов. К великому моему ужасу я стал замечать, что крестьянин порой начинает заговариваться. Постепенно его ум все больше затуманивался. И мы оба с Сердюковым замечали, как шаг за шагом, день за днем он приближался к безумию, покуда разговор его не превратился в настоящий бред. Тогда из нижнего этажа стали доноситься дикие крики и страшный шум. Наш сосед помешался; но его тем не менее еще несколько месяцев продержали в крепости, прежде чем отвезти в дом умалишенных, из которого несчастному не суждено уже было выйти. Присутствовать при таких условиях, при медленном разрушении человеческого ума—ужасно. Я уверен, это обстоятельство содействовало увеличению нервной раздражительности моего милого друга Сердюкова. Когда, после четырех лет заключения, суд оправдал его и его выпустили—он застрелился.

Раз мне нанесли неожиданный визит. В мою комнату, в сопровождении только адъютанта, вошел брат Александра II, великий князь Николай Николаевич, осматривавший крепость. Дверь захлопнулась за ним. Он быстро подошел ко мне и сказал:—Здравствуй, Кропоткин.—Он знал меня лично и говорил фамильярным, благодушным тоном как со старым знакомым.

— Как это возможно, Кропоткин, чтобы ты, камер-паж, бывший фельдфебель, мог быть замешан в таких делах и сидишь теперь в этом ужасном каземате?

— У каждого свои убеждения,—ответил я.

— Убеждение? Так твое убеждение, что нужно заводить революцию?

Что мне было отвечать? Сказать „да“? Тогда из моего ответа сделали бы такой вывод, что я, отказавшийся давать какие бы то ни было показания жандармам, „признался во всем“ брату царя. Николай Николаевич говорил тоном начальника военного училища, пытающегося добиться „признания“ от кадета. И в то же время я не мог ответить „нет“. То была бы ложь. Я не знал, что сказать, и молчал.

— Вот видишь! Самому тебе стыдно теперь...

Это замечание разозлило меня, и я ответил довольно резко:—Я дал свои показания судебному следователю на допросах: мне нечего прибавлять.

— Да ты пойми, Кропоткин,—сказал тогда Николай Николаевич самым благодушным тоном:—я говорю с тобой не как судебный следователь, а совсем как частный человек. Совсем как частный человек,—прибавил он, понизив голос.

Мысли вихрем кружились у меня в голове. Сыграть роль маркиза Позы? Передать царю через посредство его брата о разорении России, об обнищании крестьян, о произволе властей, о неминуемом страшном голоде? Сказать, что мы хотели помочь крестьянам выйти из их отчаянного положения, придать им бодрости? Попытаться таким образом повлиять на Александра II? Мысли эти мелькали одна за другой у меня в голове. Наконец я сказал самому себе: „Никогда! Это безумие! Они все это знают. Они—враги народа, и такими речами их не переделаешь“.

Я ответил, что он всегда остается официальным лицом и что я не могу смотреть на него как на частного человека.

Николай Николаевич стал тогда задавать мне всякие безразличные вопросы:—Не в Сибири ли от декабристов ты набрался таких взглядов?

— Нет. Я знал только одного декабриста и с тем никогда не вел серьезных разговоров.

— Так ты набрался их в Петербурге?

— Я всегда был такой.

— Как! Даже в корпусе?—с ужасом переспросил он меня.

— В корпусе я был мальчиком. То, что смутно в юности, выясняется потом, когда человек мужает.

Он задал мне еще несколько подобных вопросов, и, как он говорил, я ясно понимал, к чему он ведет. Он пытался добиться от меня „признаний", и я живо представил себе мысленно, как он говорит своему брату: „Все эти прокуроры и жандармы дураки. Кропоткин им ничего не отвечал; но я поговорил с ним десять минут, и он все мне рассказал". Все это начинало меня бесить. И, когда Николай Николаевич заметил мне нечто вроде: „Как ты мог иметь что-нибудь общее со всеми этими людьми, с мужиками и разночинцами", я грубо отрезал:—Я вам сказал уже, что дал свои показания судебному следователю.—Он резко повернулся на каблуках и вышел.

Впоследствии часовые, гвардейские солдаты сложили целую легенду по поводу этого посещения. Товарищ, приехавший потом во время моего побега в пролетке, чтобы освобождать меня, был в военной фуражке. Светлые бакенбарды придавали ему слабое сходство с Николаем Николаевичем. И вот среди петербургского гарнизона пошла тогда легенда, что меня увез сам великий князь. Таким образом легенды могут складываться даже в век газет и биографических словарей.

V.

Прошло два года. Иные из моих товарищей умерли, другие стали душевно-больными; но не было никаких вестей о том, когда наше дело поступит в суд.

К концу второго года здоровье мое пошатнулось. Дубовый табурет теперь казался мне тяжелым, а семь верст я находил бесконечным расстоянием. Так как в крепости нас сидело теперь около шестидесяти человек, а зимние дни коротки, то на прогулку выводили всего раз в два-три дня, минут на двадцать. Я употреблял все старания, чтобы сохранить энергию, но „полярная зимовка" без летнего перерыва брала свое. Из Сибири я вывез слабые признаки цынги; теперь в темном и сыром каземате они проявились более определенно. Этот тюремный бич сразил меня.

В марте или апреле 1876 года нам наконец сообщили, что Третье отделение закончило предварительное дознание. Дело перешло к судебным властям, и потому нас перевели в Дом предварительного заключения—в тюрьму, примыкающую к зданию суда.

„Предварительная", как ее называли, — громадная, показная четырехэтажная тюрьма, выстроенная по типу французских и бельгийских образцовых тюрем. Ряды маленьких камер все имеют по окну, выходящему во двор, и по двери, открывающейся на железный балкон. Балконы же различных этажей соединены железными лестницами.

Для многих многих товарищей перевод в „Предварилку" явился большим облегчением. Здесь было гораздо больше жизни, чем в крепости, больше возможности переписываться и переговариваться; легче было добиться свидания с родственниками. Перестукивание продолжалось беспрерывно целый день. Подобным путем я даже изложил одному молодому соседу всю историю Парижской коммуны от начала до конца. Нужно прибавить однако, что я выстукивал мою историю целую неделю. Что касается здоровья, то в Доме предварительного заключения мне стало еще хуже, чем в крепости. Я не выносил спертого воздуха крошечной камеры. Как только паровое отопление начинало действовать, температура из леденящей становилась невыносимо жаркой. Камера имела только четыре шага по диагонали, и, когда я начинал ходить, то приходилось беспрестанно поворачиваться; голова начинала кружиться через несколько минут, а короткая

прогулка в маленьком дворике, окруженном высокими каменными стенами, нисколько не освежала меня. Что касается тюремного врача, который не желал даже слышать слова „цынга" в „его тюрьме", то лучше о нем совсем не говорить. Кончилось тем, что я вовсе не мог переваривать даже легкой пищи.

Мне разрешили получать пищу из дому, так как недалеко от суда жила одна моя свояченица, вышедшая замуж за адвоката. Но мое пищеварение стало так плохо, что я съедал в день только кусок хлеба да одно или два яйца. Силы мои быстро падали, и по общему мнению мне оставалось жить только несколько месяцев. Чтобы подняться до моей камеры, находившейся во втором этаже, я должен был раза два отдыхать на лестнице. Помню, как раз старый солдат-часовой жалостливо заметил: „Не дожить тебе, сердешному, до осени".

Родственники мои сильно встревожились. Сестра Лена пробовала хлопотать, чтобы меня выпустили на поруки; но прокурор Шубин ответил ей с сардонической усмешкой:—Доставьте свидетельство от врача, что брат ваш умрет через десять дней; тогда я его освобожу.—Прокурор имел удовольствие видеть, как сестра упала в кресло и громко разрыдалась в его присутствии. Мои родные однако добились того, чтобы меня осмотрел хороший доктор, профессор, ассистент Сеченова. Он осмотрел меня самым тщательным образом и пришел к заключению, что у меня нет никакой органической болезни, но что страдаю я главным образом от недостаточного окисления крови.

— Все, что вам нужно—это воздух,—заключил он. Он колебался несколько минут, затем сказал решительно:—Что там толковать! Вы не можете оставаться здесь. Вас необходимо перевести.

Дней через десять после этого меня действительно перевели в находившийся тогда на окраине Петербурга Николаевский военный госпиталь, при котором имеется небольшая тюрьма для офицеров и солдат, заболевших во время нахождения под следствием. В эту тюрьму перевели уже двух моих товарищей, когда стало очевидно, что они скоро умрут от чахотки.

В госпитале я начал быстро поправляться. Мне дали просторную комнату в нижнем этаже, рядом с караульной. В ней было громадное, забранное решеткой окно, выходившее на юг, на маленький бульвар, обсаженный двумя рядами деревьев, а за бульваром тянулось большое, открытое пространство, где сотни две плотников строили тогда бараки для тифозных больных. По вечерам они обыкновенно пели хором и так согласно, как только поют в больших плотничьих артелях. По бульварчику взад и вперед ходил часовой; его будка стояла против моего окна.

Окно оставалось открыто весь день, и я упивался солнечными лучами, которых не видал так давно. Всей грудью вдыхал я ароматный майский воздух. Мое здоровье быстро поправлялось,—слишком даже быстро, по моему мнению. Скоро я был в состоянии переваривать легкую пищу, силы мои окрепли и с обновленной энергией я принялся снова за работу. Не видя возможности закончить второй том моего труда, я написал короткое, но довольно обстоятельное, в виде тезисов, изложение неоконченных еще глав, которое и было приложено к первому тому.

В крепости я слышал от товарища, сидевшего одно время в госпитальной тюрьме, что оттуда мне будет не трудно бежать. Я сообщил, конечно, друзьям, где нахожусь; сообщил и свои надежды. Побег оказался однако гораздо более трудным делом, чем меня уверяли. За мной учрежден был самый бдительный, беспримерный до того времени, надзор. У моих дверей поместили часового, и мне никогда не позволяли выходить в коридор. Госпитальные солдаты и караульные офицеры, которые иногда входили ко мне, боялись, повидимому, оставаться со мной более одной или двух минут.

Мои друзья составили несколько планов освобождения, и в том числе были проекты крайне забавные. По одному из них, например, я должен был подпилить решетку в окне. Затем предполагалось, что когда, в дождливую ночь, часовой задремлет в своей будке, два моих приятеля подползут сзади и опрокинут ее. Таким образом солдат не будет ранен, а просто пойман

как мышь в мышеловке. В это время я должен был выпрыгнуть из окна... Но неожиданно явилось лучшее разрешение вопроса.

— Попроситесь на прогулку!—шепнул мне раз один из солдат. Я так и сделал. Доктор поддержал меня, и мне разрешили ежедневно в четыре часа выходить в тюремный двор на прогулку на один час. Я должен был носить все-таки зеленый фланелевый больничный халат, но мне выдавали мои сапоги, панталоны и жилет.

Никогда я не забуду мою первую прогулку. Когда меня вывели, и я увидал перед собою заросший травою двор, в добрых триста шагов в глубину и шагов двести в ширину,—я просто замер. Ворота были отперты, и сквозь них я мог видеть улицу, громадный госпиталь напротив и даже прохожих... Я остановился на крылечке тюрьмы и оцепенел на мгновение при виде этого двора и ворот. У одной из стен двора стояла тюрьма,—узкое здание, шагов полтораста в длину с будками для часовых на обоих концах. Оба часовые ходили взад и вперед вдоль здания и таким образом вытоптали тропинку в траве. По этой тропинке мне и велели гулять, а часовые тем временем продолжали ходить взад и вперед, так что один из них был всегда не дальше, как шагах в десяти или пятнадцати от меня. На крылечке сели три госпитальных солдата.

На противоположном конце громадного двора, обнесенного высоким забором из толстых досок, несколько крестьян сбрасывали с возов дрова и складывали их в поленницы вдоль стен. Ворота были открыты, чтобы впускать возы.

Эти открытые ворота производили на меня чарующее впечатление. „Не надо глядеть на них“, говорил я самому себе и тем не менее все поглядывал в ту сторону. Как только меня опять ввели в комнату, я тотчас же написал друзьям, чтобы сообщить им благую весть. „Я почти не в силах шифровать,— писал я дрожащей рукой, выводя непонятные значки вместо цифр.—От этой близости свободы я дрожу, как в лихорадке. Они меня вывели сегодня во двор. Ворота отперты, и возле них нет часового. Через эти ворота

я убегу. Часовые не поймают меня". И я набросал план побега. „К воротам госпиталя подъезжает дама в открытой пролетке. Она выходит, а экипаж дожидается ее на улице, шагах в пятнадцати от моих ворот. Когда меня выведут в четыре часа на прогулку, я некоторое время буду держать шляпу в руках; этим я даю сигнал тому, который пройдет мимо ворот, что в тюрьме все благополучно. Вы должны мне ответить сигналом: «Улица свободна». Без этого я не двинусь. Я не хочу, чтобы меня словили на улице. Сигнал можно подать только звуком или светом. Кучер может дать его, направив своей лакированной шляпой светового «зайчика» на стену главного больничного здания; еще лучше если кто-нибудь будет петь, покуда улица свободна,—разве если вам удастся нанять серенькую дачу, которую я вижу со двора; тогда можно подать сигнал из окна. Часовой побежит за мной, как собака за зайцем, описывая кривую, тогда как я побегу по прямой линии. Таким образом, я удержу свои пять-шесть шагов расстояния. На улице я прыгну в пролетку, и мы помчимся во весь опор. Если часовой вздумает стрелять, то тут ничего не поделаешь. Это—вне нашего предвиденья. В виду неизбежной смерти в тюрьме—стоит рискнуть".

Было сделано несколько других предложений, но в конце концов этот проект приняли. Наш кружок принялся за дело. Люди, которые никогда не знали меня, приняли участие, как будто дело шло о дорогом им брате. Предстояло однако преодолеть массу трудностей, а время мчалось с поразительной быстротой. Я усиленно работал и писал до поздней ночи; но здоровье мое улучшалось тем не менее с быстротой, которая приводила меня в ужас. В первый раз, когда меня вывели во двор, я только мог ползти по тропинке по-черепашьи. Теперь же я окреп настолько, что мог бы бегать. Правда, я попрежнему продолжал ползти медленно как черепаха, иначе мои прогулки прекратились бы; но моя природная живость могла всякую минуту выдать меня. А товарищи мои должны были в это время подобрать человек двадцать для этого дела, найти подходящую лошадь и опытного кучера

и уладить сотню непредвиденных мелочей, неминуемых в подобном заговоре. Подготовления заняли уже около месяца, а между тем каждый день меня могли перевести обратно в Дом предварительного заключения.

Наконец день побега был назначен—29 июня, день Петра и Павла. Друзья мои внесли струйку сентиментализма и хотели освободить меня непременно в этот день. Они сообщили мне, что, на мой сигнал: „В тюрьме все благополучно“, они ответят: „Все благополучно и у нас“, выпустив красный игрушечный шар. Тогда подъедет пролетка, и кто-нибудь будет петь песню, покуда улица свободна.

Я вышел двадцать девятого июня, снял шляпу и ждал воздушного шара, но его не было. Прошло полчаса. Я слышал, как прошумели колеса пролетки на улице: я слышал, как мужской голос выводил незнакомую мне песню, но шара не было.

Прошел час, и с упавшим сердцем я возвратился в свою комнату. „Случилось что-нибудь недоброе, что-нибудь неладно у них“,—думал я.

В тот день случилось невозможное. Около Гостиного двора, в Петербурге, продаются всегда сотни детских шаров. В этот же день не оказалось ни одного. Товарищи нигде не могли найти шара. Наконец они добыли один у ребенка, но шар был старый и не летал. Тогда товарищи мои кинулись в оптический магазин, приобрели аппарат для добывания водорода и наполнили им шар; но он тем не менее упорно отказывался подняться, водород не был просушен. Время уходило. Тогда одна дама [1] привязала шар к своему зонтику и, держа последний высоко над головой, начала ходить взад и вперед по тротуару, под забором нашего двора. Но я ничего не видел: забор был очень высокий, а дама—очень маленькая.

Как оказалось потом, случай с воздушным шаром вышел очень кстати. Когда моя прогулка кончилась, пролетка проехала по тем улицам, по которым она должна была проскакать в случае моего побега. И тут,

---

[1] Известная революционная деятельница 70-х годов М. П. Лешерн-фон-Герцфельд. Ред.

в узком переулке, ее задержали возы с дровами для госпиталя. Лошади шли в беспорядке, одни по правую сторону улицы, другие по левую, и пролетка могла двигаться только шагом; на повороте ее совсем остановили. Если бы я сидел в ней, нас наверное бы поймали.

Теперь товарищи установили целый ряд сигналов, чтобы дать знать, свободны ли улицы, или нет. На протяжении около двух верст от госпиталя были расставлены часовые. Один должен был ходить взад и вперед с платком в руках и спрятать платок, как только покажутся возы. Другой—сидел на тротуарной тумбе и ел вишни [1], но как только возы показывались, он переставал. И так шло по всей линии. Все эти сигналы, передаваясь от часового к часовому, доходили, наконец, до пролетки. Мои друзья сняли также упомянутую выше серенькую дачу [2], и у ее открытого окна поместился скрипач [3] со скрипкой в руках, готовый заиграть, как только получит сигнал: „Улица свободна".

Побег назначили на следующий день. Дальнейшая отсрочка могла быть опасна—в госпитале уже заметили пролетку. Власти, должно быть, пронюхали нечто подозрительное, потому что накануне побега, вечером, я слышал, как патрульный офицер спросил часового, стоявшего у моего окна:—Где твои боевые патроны?—Солдат стал их неловко вытаскивать из сумки; минуты две он возился, доставая их. Патрульный офицер ругался:—Разве не было приказано всем вам держать четыре боевых патрона в кармане шинели?—Он отошел только тогда, когда солдат это сделал.

— Гляди в оба!—сказал офицер, отходя.

Новую систему сигналов нужно было немедленно же сообщить мне. На другой день, в два часа, в тюрьму явилась дама, дорогая мне родственница, и попросила,

---

[1] Известный деятель партии „Народной воли" М. Зунделевич.

[2] Серенький дом—на углу б. Кавалергардской ул. и Слонового (Суворовского, ныне Советского) просп. Дом был снят М. П. Лешерн-фон-Герцфельд и С. В. Мокиевским-Зубком.

[3] Эдуард Эдуардович Веймар, брат известного революционера. Ред.

чтобы мне передали часы [1]. Все проходило обыкновенно через руки прокурора; но так как-то были просто часы, без футляра, их передали. В часах же находилась крошечная зашифрованная записочка, в которой излагался весь план. Когда я увидал ее, меня просто охватил ужас,—до такой степени поступок поражал своею смелостью. Жандармы уже разыскивали даму по другому делу, и ее задержали бы на месте, если бы кто-нибудь вздумал открыть крышку часов. Но я видел, как моя родственница спокойно вышла из тюрьмы и потихоньку пошла по бульвару, крикнув мне, стоявшему у окна:—А вы часы-то проверьте!

Я вышел на прогулку, по обыкновению, в четыре часа и подал свой сигнал. Сейчас же я услышал стук колес экипажа, а через несколько минут из серого домика до меня донеслись звуки скрипки. Но я был в то время у другого конца здания. Когда же я вернулся по тропинке к тому концу, который был ближе к воротам, шагах в ста от них, часовой стоял совсем у меня за спиной. „Пройду еще раз“,—подумал я. Но прежде, чем я дошел до дальнего конца тропинки, звуки скрипки внезапно оборвались.

Прошло больше четверти часа в томительной тревоге, прежде чем я понял причину перерыва: в ворота въехало несколько тяжело нагруженных дровами возов, и они направились в другой конец двора. Немедленно затем скрипач (и очень хороший, должен сказать) заиграл бешеную и подмывающую мазурку Контского, как бы желая внушить: „Теперь смелей! Твое время!—пора!“ Я медленно подвигался к тому концу тропинки, который был поближе к воротам, дрожа при мысли, что звуки мазурки могут оборваться, прежде чем я дойду до конца.

Когда я достиг его, то оглянулся. Часовой остановился в пяти или шести шагах за мной и смотрел в другую сторону. „Теперь или никогда!“ помню я,

---

[1] Теперь я могу сказать, что это была общественная деятельница, сестра жены моего брата, Софья Николаевна Лаврова,—скончавшаяся за два месяца до русской революции!

Ред.

сверкнуло у меня в голове. Я сбросил зеленый фланелевый халат и пустился бежать.

Задолго до этого я практиковался, как снимать мой бесконечный и неуклюжий балахон. Он был такой длинный, что мне приходилось таскать подол его на левой руке, как дамы держат шлейф амазонки. Несмотря на все старания, я не мог скинуть халат в один прием. Я подпорол швы под мышками; но и это не помогало. Тогда я решился научиться снимать его в два приема: первый—скинуть шлейф с руки, второй—сбросить халат на землю. Я терпеливо упражнялся в моей комнате до тех пор, покуда научился делать это чисто, как солдат ружейные приемы—„раз. два!“ И халат лежал на земле.

Не очень-то доверяя своим силам, я побежал сначала медленно, чтобы сберечь их. Но едва я сделал несколько шагов, как крестьяне, складывающие дрова, на другом конце двора, заголосили — Бежит! Держи его! Лови его!—и кинулись мне наперерез к воротам. Тогда я помчался, что было сил. Я думал только о том, чтобы бежать скорее. Прежде меня беспокоила выбоина, которую возы вырыли у самых ворот, теперь я забыл ее.—Бежать, бежать! На сколько хватит сил.

Друзья мои, следившие за всем из окна серенького домика, рассказывали потом, что за мной погнались часовой и три солдата, сидевшие на крылечке тюрьмы. Несколько раз часовой пробовал ударить меня сзади штыком, бросая вперед руку с ружьем. Один раз друзья даже подумали, что вот меня поймали. Часовой не стрелял, так как был слишком уверен, что догонит меня. Но я удержал расстояние. Добежавши до ворот, солдат остановился.

Выскочив за ворота, я, к ужасу моему, заметил, что в пролетке сидит какой-то штатский в военной фуражке. Он сидел, не оборачиваясь ко мне! „Пропало дело!“—мелькнуло у меня. Товарищи сообщали мне в последнем письме: „Раз вы будете на улице, не сдавайтесь; вблизи будут друзья, чтобы, отбить вас“; и я вовсе не желал вскочить в пролетку если там сидит враг. Однако, когда я стал подбегать, я заметил, что сидевший в пролетке человек с светлыми бакенбардами,

очень похож на одного моего дорогого друга. Он не принадлежал к нашему кружку; но мы были близкими друзьями, и не раз я имел возможность восторгаться его поразительным мужеством, смелостью и силой, становившейся неимоверной в минуту опасности.

„С какой стати он здесь?—подумал я.—Возможно ли это?“

Я едва не выкрикнул имени; но во-время спохватился и вместо этого захлопал на бегу в ладоши, чтобы заставить сидящего оглянуться. Он повернул голову. Теперь я узнал, кто он [1].

— Сюда, скорее, скорее!—крикнул он, отчаянно ругая, на чем свет стоит, и меня и кучера и держа в то же время наготове револьвер.—Гони! Гони! Убью тебя,—кричал он кучеру. Великолепный призовой рысак, специально купленный для этой цели, помчался сразу галопом [2]. Сзади слышались вопли:—Держи его! Лови!—А друг в это время помогал мне надеть пальто и цилиндр.

Но главная опасность была не столько со стороны преследовавших, как со стороны солдата, стоявшего у ворот госпиталя,—почти напротив того места, где дожидалась пролетка. Он мог помешать мне вскочить в экипаж или остановить лошадь, для чего ему достаточно было бы забежать несколько шагов вперед. Поэтому одного из товарищей командировали, чтобы отвлечь беседой внимание солдата. Он выполнил это с большим успехом [3]. Солдат одно время служил в госпитальной лаборатории; поэтому приятель завел разговор на ученые темы, именно о микроскопе и о

---

[1] Это был доктор Орест Эдуардович Веймар, поразивший впоследствии всех своим смелым хладнокровием на перевязочных пунктах, во время турецкой войны, и скончавшийся от чахотки в каторге, на Каре, куда его сослали в 1880 г. как народовольца.

[2] Это был знаменитый „Варвар“, купленный революционерами за 2 500 р. Впоследствии на этом же „Варваре“ бежал Кравчинский Степняк, заколовший кинжалом на Михайловской площади шефа жандармов Мезенцова.

[3] Известный революционер-народоволец Юрий Богданович.

Ред.

чудесах, которые можно увидеть посредством его. Речь зашла о некотором паразите человеческого тела.

— Видел ли ты, какой большущий хвост у ней?— спросил приятель.

— Откуда у ней хвост?—возражал солдат.

— Да как же! Во какой под микроскопом.

— Не ври сказок!—ответил солдат.—Я-то лучше знаю. Я ее, подлую, первым делом под микроскоп сунул.—Научный спор происходил как раз в тот момент, когда я пробегал мимо них и вскакивал в пролетку, Оно похоже на сказку, но между тем так было в действительности.

Экипаж круто повернул в узкий переулок, вдоль той самой стены, у которой крестьяне складывали дрова и где теперь никого не было, так как все погнались за мной. Поворот был такой крутой, что пролетка едва не перевернулась. Она выравнялась только тогда, когда я сильно навалился вовнутрь и потянул за собою приятеля. Лошадь теперь бежала крупной, красивой рысью по узкому переулку, и мы повернули налево. Два жандарма, стоявшие у дверей питейного, отдали честь военной фуражке Веймара.—Тише! Тише!—говорил я ему, так как он был все еще страшно возбужден.—Все идет отлично. Жадармы даже отдают тебе честь!—Тут кучер обернулся ко мне, и в сияющей от удовольствия физиономии я узнал другого приятеля.

Всюду по дороге мы встречали друзей, которые подмигивали нам или желали успеха, когда мы мчались мимо них на нашем великолепном рысаке. Мы выехали на Невский проспект [1], повернули в боковую улицу и остановились у одного подъезда, где и отослали экипаж. Я взбежал по лестнице и упал в объятия моей родственницы [2], которая дожидалась в мучительной тоске. Она и смеялась и плакала, в то же время умоляя меня переодеться поскорее и подстричь бросающуюся в глаза бороду. Через десять

---

[1] Пролетка проехала по Кавалергардской (ныне ул. Красной конницы) и по Тверской—на Невский пр. (ныне 25 октября) к дому № 107. Этот дом имеет проходной двор на Гончарную № 22. Ред.

[2] Корнилова.

минут мы с моим другом вышли из дома и взяли извозчичью карету.

Тем временем караульный офицер в тюрьме и госпитальные солдаты выбежали на улицу, не зная, что собственно делать. На версту кругом не было ни одного извозчика, так как все были заняты товарищами. Старая баба в толпе оказалась умнее всех.

— Бедненькие!—произнесла она, как будто говоря сама с собой.—Они наверное выедут на Невский, а там их и поймают, если кто-нибудь поскачет напрямик этим переулком.

Баба была совершенно права. Офицер побежал к вагону конки, который стоял тут же, и потребовал у кондукторов лошадей, чтобы послать кого-нибудь верхом перехватить нас. Но кондуктора наотрез отказались выпрягать лошадей, а офицер не настаивал.

Что же касается скрипача и дамы, снявших серенький домик, то они тоже выбежали, присоединились к толпе, вместе со старухой, и слышали таким образом ее совет; а когда толпа рассеялась, они преспокойно ушли себе домой.

Был прекрасный вечер. Мы покатили на острова, куда шикарный Петербург отправляется летом в погожие дни полюбоваться закатом. По дороге мы заехали на далекой улице к цырюльнику, который сбрил мне бороду. Это, конечно, изменило меня, но не очень сильно. Мы катались бесцельно по островам; но не знали куда нам деваться, так как нам велели приехать только поздно вечером туда, где я должен был переночевать.

— Что нам делать теперь?—спросил я моего друга, который тоже был в нерешительности.

— К Донону!—приказал он вдруг извозчику.—Никому не придет в голову искать нас в модном ресторане. Они будут искать нас везде, но только не там; а мы пообедаем и выпьем также за успешный побег.

Мог ли я возразить что-нибудь против такого благоразумного предложения? Мы отправились к Донону, прошли залитые светом залы, наполненные обедающими, и взяли отдельный кабинет, где и провели вечер до назначенного нам часа. В дом же, куда мы

заезжали прямо из тюрьмы, нагрянула часа два спустя жандармерия. Произвели также обыски почти у всех моих друзей. Никому не пришло однако в голову сделать обыск у Донона.

Дня два спустя я должен был поселиться под чужим паспортом в квартире, снятой для меня. Но дама, которой предстояло сопровождать меня туда в карете, решила для предосторожности сперва поехать самой. Оказалось, что вокруг квартиры шпионы кишмя-кишат. Друзья так часто справлялись там, все ли обстоит благополучно, что полиция заподозрела что-то. Кроме того моя карточка была в сотнях экземпляров распространена Третьим отделением между полицейскими и дворниками. Сыщики, знавшие меня в лицо, искали меня на улицах. Те же, которые меня не знали, бродили в сопровождении солдат и стражников, видевших меня в тюрьме. Царь был взбешен тем, что побег мог совершиться в его столице, среди бела дня, и отдал приказ: „Разыскать во что бы то ни стало".

В Петербурге оставаться было невозможно, и я укрывался на дачах, в окрестностях. Вместе с несколькими друзьями я прожил под столицей в деревне [1], куда в то время года часто отправлялись петербуржцы устраивать пикники. Наконец товарищи решили, что мне следует уехать за границу. Но в шведской газете я вычитал, что во всех портовых и пограничных городах Финляндии и Прибалтийского края находятся сыщики, знающие меня в лицо; поэтому я решил поехать по такому направлению, где меня меньше всего могли ожидать. Снабженный паспортом одного из приятелей, я, в сопровождении одного товарища, проехал в Финляндию и добрался до отдаленного порта в Ботническом заливе, откуда и переправился в Швецию.

Когда я сел уже на пароход, перед самым отходом товарищ, сопровождавший меня до границы, сообщил мне петербургские новости, которые он обещал друзьям не говорить мне раньше. Сестру Елену заарестовали; забрали также сестру жены моего брата [2],

---

[1] На даче Веймаров.
[2] Л. Е. Павлинова. Ред.

ходившую ко мне на свидание в тюрьму раз в месяц, после того как Александр с женой уехали в Сибирь.

Сестра решительно ничего не знала о приготовлениях к побегу. Лишь после того, как я бежал, один товарищ пошел к ней, чтобы сообщить радостную весть. Сестра напрасно заявляла жандармам, что ничего не знает. Ее оторвали от детей и продержали в тюрьме две недели. Что же касается моей свояченицы [1], то она смутно знала о каком-то приготовлении, но не принимала в нем никакого участия. Здравый смысл должен был бы подсказать властям, что лицо, открыто посещавшее меня в тюрьме, не может быть запутано в подобном деле. Тем не менее ее продержали в тюрьме больше двух месяцев. Ее муж, известный адвокат, тщетно хлопотал об освобождении.

— Мы теперь знаем,—сказали ему жандармы:—что она совершенно непричастна к побегу; но, видите ли, мы доложили императору, когда взяли ее, что лицо, организовавшее побег, открыто и арестовано. Теперь нужно время, чтобы подготовить государя к мысли, что взяли не настоящего виновника.

Я проехал в Швецию, нигде не останавливаясь, и прибыл в Христианию, где прождал несколько дней парохода в Англию, в Гулль.

Библиотека
Института Ленина
при Ц. К. В. К. (б)

---

[1] Л. С. Павлинова. Ред.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие	3
Детство	5
Поездка за границу	58
Побег	104

Издательство „ПРИБОЙ“

Ленинград, ул. Герцена, 15. Тел. 217-79.
Москва, Лубянский пассаж, 46—49. Тел. 2-24-09.

Русская художественная литература.

Айзман Д. — История одного преступления. Стр. 211. Ц. 1 р. 40 к.

Алексеев Михаил. — Большевики. Изд. 3-е. Стр. 190. Ц. 1 р. 10 к.

Андреев Василий.—Славнов двор. Стр. 90. Ц. 55 к.

Аросев А.—От желтой реки. Повесть. Стр. 164. Ц. 90 к.

Берзин Юлий.—Форд. Роман. Стр. 211. Ц. 1 р. 30 к.

Грабарь Л. — Люди-человеки. Сборник. Стр. 168. Ц. 1 р. 40 к.

Жига И. — Думы рабочих, заботы, дела. Записки рабкора. Стр. 136. Ц. 1 р. 25 к.

Катаев Валентин. — Растратчики. Повести и рассказы. Стр. 273. Ц. 1 р. 85 к.

Козаков Мих. — Абрам Нашатырь, содержатель гостиницы. Повесть. Изд. 2-е. Стр. 108. Ц. 75 к.

Его же. — Мещанин Адамейко. Повесть. Стр. 257. Ц. 1 р. 50 к.

Коробков Яков.—Дема Бзюнов. Повесть в 5 част. („Новинки пролетарской литературы“). Стр. 302. Ц. 1 р. 50 к.

Его же. — Земляная порода. Повести и рассказы. Стр. 167. Ц. 1 р. 15 к.

Его же. — Катя Долга. Хроника современной деревни. Изд. 2-е. (Печатается).

Либединский Ю.—Комиссары. Изд. 3-е. Стр. 173. Ц. 1 р 10 к.

ДЕШЕВАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

П. Ивзнов. — От станка к барикаде. 251 стр. Цена 90 к.